

БАН СССР

18900-Б

0-Б

Ев. ЧИРИКОВЪ.

РУССКІЙ НАРОДЪ

ПОДЪ СУДОМЪ

МАКСИМА ГОРЬКАГО.



„МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО“
1917.

18900Б

ЕВ. ЧИРИКОВЪ.

РУССКІЙ НАРОДЪ

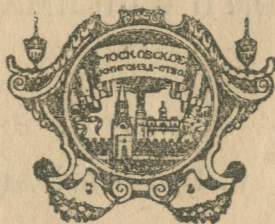
ПОДЪ СУДОМЪ МАКСИМА ГОРЬКАГО.

І. Неразбериха. II. При свѣтѣ здраваго смысла.



„МОСКОВСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО“.

1917.



Типографія „ЗЕМЛЯ“. Москва.
1-я Мѣщанская, 5.

„НЕРАЗБЕРИХА“.

«Изъ дальнихъ странствій возвратясь»,—я, интеллигентный рабочий, по волѣ судьбы російскаго обывателя, сильно поотсталъ отъ всякой современности и, желая войти въ курсъ жизни, ориентироваться въ текущемъ моментѣ, съ жадностью голоднаго началъ отыскивать знакомыхъ «идеологовъ рабочаго сословія»... Повидалъ челоуѣкъ пять-шесть, поговорилъ по душѣ,—и голова моя распухла отъ той интеллигентской неразберихи, въ которую меня погрузили эти бесѣды со свѣдующими учеными «товарищами». Въ прежнее время были только меньшевики и большевики. И тогда масса рабочихъ не близко къ сердцу принимала это раздѣленіе на два враждебныхъ лагеря, идеологи которыхъ неустанно сражались другъ съ другомъ. Мы, интеллигентные рабочіе, еще могли распутаться въ этомъ раздорѣ и склониться на ту или другую сторону, потому что этотъ расколъ все-таки протекалъ при нормальномъ теченіи жизни. Теперь отъ насъ, рабочихъ, жизнь потребовала немедленнаго двойственнаго реагированія на текущій историческій моментъ, связанный съ участіемъ нашей родины во всемірной борьбѣ народовъ за свою политическую и экономическую независимость. Мы—не только рабочіе, мы дѣти русскаго народа, мы—тотъ самый русскій народъ, судьбы котора-

то теперь рѣшаются на поляхъ кровавыхъ, гдѣ миллионы нашихъ братьевъ и отцовъ отдають свою жизнь за свой народъ и свою родину. Если любовь къ своей отчизнѣ, къ своей родинѣ—«предразсудокъ», то, во всякомъ случаѣ, предразсудокъ общечеловѣческой, такой же предразсудокъ, какъ любовь сына къ матери. Быть можетъ, когда-нибудь всѣ люди будутъ братьями, и вся земля будетъ ихъ общей родиной, но вѣдь сейчасъ этого рая нѣтъ, а отчизна и родина, несмотря ни на какія ея культурныя, политическія и экономическія недостатки, одинаково дорога, какъ нѣмцу, такъ и русскому! Вѣдь, этой любви изъ себя не выкинешь!

Съ этой любовью къ родинѣ, съ болью въ душѣ за ея судьбы, съ болью за миллионы гибнущихъ братьевъ на кровавыхъ поляхъ борьбы, я и подходилъ къ господамъ «идеологамъ» нашего сословія...

На первыхъ порахъ мнѣ посчастливилось: два идеолога, съ которыми мнѣ пришлось столкнуться, своими научными и логическими доводами внесли въ мою душу нравственное успокоеніе: моя любовь къ отчизнѣ, моя боль за родину и за гибнущихъ братьевъ, крестьянъ и рабочихъ, совпадала съ научными и логическими доводами ученыхъ «товарищей». Моя душевная радость увеличилась еще болѣе, когда у одного «идеолога-большевика» я встрѣтилъ «идеолога-меньшевика» (прежнихъ враговъ!), которые, какъ понялъ я изъ ихъ дружескаго разговора, по отношенію къ войнѣ и переживаемому историческому моменту оказались единомышленниками. Вотъ, думаю, правду говорятъ, что несчастье сближаетъ людей! Однако, изъ ихъ же разговора я узналъ, что доходившіе къ намъ въ глушь слухи о существованіи «идеологовъ-пораженцевъ»—не сказка, а сущая правда.

— Много ихъ?—поинтересовался я.

— Не особенно, но... имѣются...

Увы!—скоро мнѣ пришлось убѣдиться, что расколъ среди «идеологовъ» рабочаго сословія теперь горше прежняго! Прихожу къ одному и за чайкомъ начинаю спрашивать, какъ и что относительно войны...

— Вы какъ? Оборонецъ или пораженецъ?

— Ни то, ни другое!

— Вотъ тебѣ разъ! Какъ же вы? Кто вы будете?

— Я неуспѣховецъ.

— Какъ?

— Неуспѣховецъ.

Почесаль я въ затылкѣ. Что, думаю, за птица такая?

— Не понимаете?

— Нѣтъ.

— Мы полагаемъ, что будетъ всего лучше, если союзники вздуютъ нѣмцевъ, а нѣмцы вздуютъ насъ!

— Гм... Какъ вамъ сказать? Непонятно мнѣ...

— Почему?

— Какъ могу я желать, чтобы меня вздули? Вѣдь, тамъ гибнуть мои братья!.. Хорошо намъ съ вами часекъ попивать, книжечки почитывать да разсуждать... А вѣдь тамъ милліоны нашихъ братьевъ, отдающихъ свою жизнь... Скажите-ка вотъ имъ этотъ свой взглядъ!

— Говорить незачѣмъ...

— А если вы такъ думаете, такъ вамъ надо помогать нѣмцамъ! А нашимъ мѣшать надо.

— Совершенно излишне. Это свершить «законъ исторической необходимости». Современная Россія не можетъ побѣдить...

— Такъ, чай, въ такое время и намъ надо что-нибудь дѣлать? А то какъ же такъ?.. Міровія событія совершаются, а мы съ вами... за «законъ исторической необходимости» прячемся?

— А намъ надо готовиться къ другому дѣлу...

— Не могу понять. Любовь къ родинѣ не позволяетъ никакъ не откликаться на самое главное теперь въ жизни народа...

— Любовь!.. Вотъ эта любовь и должна васъ заставить желать того, чего я желаю.

— По совѣсти сказать, не могу. Не понимаю. Вы вотъ говорите,—хорошо будетъ, если союзники вздуютъ нѣмцевъ,

а нѣмцы насъ. Ну, а кто же тогда побѣдитъ? Союзники или нѣмцы съ австрійцами?

— Никто никого въ конечномъ счетѣ не побѣдитъ, а у насъ отъ неуспѣха подъемъ всенароднаго духа произойдетъ и мы сразу двинемся на сто лѣтъ впередъ...

— Ну, а если оно такъ выйдетъ: наше поражение только поможетъ нѣмцамъ и всѣхъ другихъ союзниковъ побѣдить? Какъ можно поручиться, что выйдетъ по-вашему?..

— Когда насъ побѣждаютъ, всегда лучше выходить. Какъ было въ севастопольскую кампанію? Какъ вышло съ японской войной?

— Да, вѣдь, пожалуй, теперь не похоже дѣло-то... Въ японской войнѣ я самъ радовался нашей неудачѣ. Тамъ одна авантюра была, тамъ не страна, не народъ воевали и тамъ не рѣшалось міровыхъ вопросовъ. Вѣдь, теперь, какъ мнѣ ваши же ученые товарищи доказали, судьбы народовъ рѣшаются!

Много чаю выпили за разговоромъ, однако, я такъ и не понялъ, почему непременно надо намъ, русскимъ, чтобы насъ колотили! Нѣтъ, не хочу, чтобы меня нѣмцы колотили: ни любовь къ своей родинѣ и своимъ братьямъ, ни гордость и обида не позволяютъ. А научные доводы и логика вѣрнѣе у оборонцевъ кажутся... Всѣ они ученые, а говорятъ всякій по-своему...

— Куда вы? Посидите! Я хочу убѣдить васъ...

— Нѣтъ, толку не будетъ... Отворачиваетъ и кончено! Душа не принимаетъ.

— Что такое, товарищъ, душа?

— Ну, ну, что ли! Не знаю, какъ научно объяснить...

— Слѣпой инстинктъ.

— Можетъ быть. Люблю свою родину и страдаю душой за нее и за тѣхъ, которые свою кровь въ ея защиту проливаютъ.

Два дня сидѣлъ въ одиночествѣ. Все думалъ и разбирался въ словахъ ученыхъ товарищей. Ничего не выходитъ. Пуганица и больше ничего. Словно въ заколдованномъ кругу думы вертятся и все къ одному мѣсту возвращаются. Какъ лѣшій въ лѣсу обошелъ. Тяжело, когда самъ мало наукъ понюхалъ!.. На третій день еще къ одному «идеологу» пошелъ: попытаю, какъ

онъ думаетъ. Человѣкъ ужъ очень умный. Въ университетѣ курсъ кончилъ.

— Добраго здоровья!

— А! Товарищъ! Какими судьбами?

— Вы пишете? Не помѣшалъ вамъ?

— Пишу и читаю! Наше дѣло такое.

— А вотъ я все думаю...

— Такъ, вѣдь, и я все время этимъ дѣломъ занимаюсь...

Слово за слово. Опять стали чай пить. Исполволь подхожу къ дѣлу. Кто, моль, теперь ты такой: оборонецъ, пораженецъ или неуспѣховецъ?

— О чемъ читаете?

— Да все и думаю и читаю больше о войнѣ. Такое время теперь.

— Правильно. Никуда отъ нея не уйдешь. Голова отъ думъ болить! И ничего не придумашь. А рѣшить надо... А вы какъ? Оборонецъ или пораженецъ?

— Ни то, ни другое!

— Стало быть, неуспѣховецъ?

— Нѣтъ.

— Такъ какъ же? Развѣ еще какіе есть?

— Я наплюевецъ!

— Какъ наплюевецъ?

— Не понимаете?

— Не понимаю. Что же это за публика такая? Не слыхалъ о ней.

— Наплюевецъ-то? Очень просто. Наплевать мнѣ на войну! Мы ее игнорируемъ. Занимайся своимъ классовымъ дѣломъ попрежнему и больше ничего!

— Вотъ тебѣ разъ! Да развѣ отъ войны спрячешься? Да, вѣдь, какъ же можно наплевать, если дѣло идетъ о судьбѣ твоего народа!? Что вы это говорите такое?

Я даже разсердился и всталъ уходить хотѣлъ. Но пришли еще нѣсколько человѣкъ, повидимому, «товарищи», и я остался. Любопытно стало, что эти, новые, за публика? Познакомились. Пили чай и опять говорили на ту же тему. Я больше

слушалъ, потому что чувствовалъ недостатокъ образованія, знанія и не былъ знакомъ съ тѣми статьями, о которыхъ они говорили и спорили между собою. Какъ-будто бы всѣ трое — одного толка, а все-таки во многомъ расходятся и спорятъ— настоящего согласія нѣтъ. Не поймешь! Слушалъ да изрѣдка слово вставлялъ.

— Вотъ вы давеча сказали, что вамъ наплевать на войну, а сами все время только про нее и говорите!

— Я только отстаиваю свою позицію... Говорю о войнѣ постольку, поскольку...

— Не понимаю...

— Я считаю необходимымъ направить нашу мысль, нашу энергію и дѣйственность въ другую точку.

— Въ какую же?

— Во внутреннюю, позабытую. А она—самая главная. Мы, россияне, имѣемъ нѣкую внутреннюю историческую болячку и желаемъ прежде всего скovyрнуть ее. Тогда все разрѣшится само собою... Къ этому идти дѣло, этого не минуешь, и потому мы выдвигаемъ на первый планъ не оборону или поражение въ войнѣ, а именно эту болячку.

— Да, вѣдь, война-то, господа, идетъ, кровь-то льется рѣкою, братья-то наши гибнуть и зовутъ всѣхъ на помощь! Какъ же наплевать-то?! Не отзываться? Вѣдь, мы—люди живые, не оглохли и не ослѣпли: слышимъ и видимъ, что происходитъ. Болячка болячкой, а война войной. Пока вы будете только о болячкахъ разговаривать, намъ могутъ нанести поражение. А тогда, пожалуй, болячка еще больше вырастетъ.

— Ходъ войны, соотношеніе дѣйствующихъ внутреннихъ силъ показало съ наглядностью, что намъ совершенно не пути съ «вершителями нашей внутренней политики» и съ либеральной буржуазіей, и что, при наличности условій, въ которыхъ идетъ война, мы все равно побѣдить не можемъ... А потому плюнемъ на войну, и подойдемъ вплотную къ нашей собственной болячкѣ!.. Оборонцы говорятъ «все для побѣды» надъ врагомъ внѣшнимъ, а мы—«все для побѣды надъ своей болячкою!»...

— Позвольте, господа! Объясните вы мнѣ вотъ что! Если бы мы воевали съ Германіей единолично, безъ союза съ Англійей, Франціей, Италіей и Японіей, и пришли бы къ выводу, что при своей болячкѣ мы побѣдить не можемъ и наше пораженіе неминуемо, то, конечно, тогда можно было бы плюнуть на войну и устремить всѣ силы только въ сторону нашей болячки. Но, вѣдь, мы воюемъ съ нѣмцами не одни, и вопросъ о побѣдѣ или пораженіи не рѣшается одними нашими русскими усиліями или неусиліями. Побѣда союза будетъ и нашей побѣдою! Пусть даже мы не побѣдимъ нѣмцевъ, а только поможемъ ихъ побѣдить. А помочь мы можемъ! Вѣдь, и такая несовершенная Россія, съ препонами и болячками, какъ мы видимъ, представляетъ огромную силу. Вѣдь, недаромъ же и нѣмцы, и австрійцы проявляютъ желаніе сепаратнаго мира съ нами! Да и можемъ ли мы бросить на произволь судьбы и нашихъ братьевъ, и нашихъ союзниковъ? Не выйдетъ ли тогда для насъ хуже всякаго пораженія? Я не могу по-совѣсти сказать, но поставить вопросы могу и долженъ. У васъ есть вѣсы, на которыхъ можно съ точностью взвѣсить силу русской арміи и рѣшить, что ея участіе въ борьбѣ союзниковъ съ Германіей не дастъ хотя одного фунта, который перевѣситъ вмѣстѣ съ арміями союзниковъ силу враговъ? Гдѣ у васъ эти вѣсы?

— А если вы не можете мнѣ сказать убѣжденно, по-совѣсти, что мы на этихъ вѣсахъ—нуль, такъ какъ же можно отъказываться отъ помощи для общей побѣды?..

«Товарищи» немного помолчали, а потомъ повели себя такъ, что,—дескать,—я ничего не понимаю, и со мной трудно говорить, а, пожалуй, и не стоитъ говорить. У нихъ въ рукахъ истина, а я... такъ, невѣжественный господинъ, котораго трудно сразу просвѣтить и открыть ему истину...

— Не то, товарищъ... Вопросы—въ разныхъ плоскостяхъ...

— Трудно намъ договориться до чего-нибудь!—промычали они.

— Господа! Какъ же такъ? Вы — наши учителя! Если мнѣ, сравнительно интеллигентному рабочему, вы не можете

раскрыть свою истину, какъ же вы поведете за собою рабочія массы? Извините, но я этого окончательно не понимаю...

Всѣ надолго замолчали. Кто помѣшивалъ чай ложечкой, кто уткнулся въ книгу.

Точно знаютъ какую-то тайну, а отъ меня скрываютъ. А, можетъ, и сами они просто запутались въ книжкахъ? Говорятъ, и это случается. А признаться не хотятъ: гордость мѣшаетъ.

— Эхъ, господа! Тяжело что-то... Можетъ, отъ того, что очень ужъ свою мать-родину люблю и за своихъ братьевъ душой болѣю...—сказалъ я со вздохомъ.

— Тогда студентъ сказалъ всѣмъ намъ:

— А вотъ тутъ, господа, и про «любовь», и про «душу» статьи есть!

— Что это за книга, товарищъ? Вотъ мнѣ бы какъ разъ теперь эти самыя статьи!..

— Новый журналъ «Лѣтопись». Максимъ Горькій издаетъ!

Такъ и забилося у меня сердце! И про душу и про любовь статьи написаны! Вотъ, думаю, гдѣ я всю правду найду...

— Самъ Горькій пишетъ?

— Про душу—самъ Горькій, а про любовь — какой-то «старичокъ», забытый въ общей свалкѣ народовъ.

— Любопытно. Можетъ, одолжите почитать?

— Мы только что получили книжку и сошлись теперь, чтобы съ ней познакомиться...

— Читать будете? Вотъ это хорошо! Чай, я не помѣшаю вамъ, если послушаю?

— Что вы! Очень рады!

— А какого направленія журналъ-то?

— Какого! Разъ Горькій издаетъ...

— Вѣрно! Извиняюсь, товарищи! Понимаю.

Тутъ они между собою заспорили, какого направленія горьковскій журналъ. Выходило такъ, что не оборонческій, но и не пораженческій...

— Такъ неужели «наплюевскій»? — вырвалось у меня спроста.

Товарищи переглянулись и разом расхохотались.

— Неизвѣстно. Поживемъ—увидимъ. Вотъ сейчасъ читаемъ маленько... Яснѣе будетъ.

— Съ чего начнемъ, господа!

— Съ души начинайте, товарищи!—попросилъ я, потому что вопросъ этотъ для меня показался самымъ интереснымъ, а главное—писать Горькій. Горькій самъ вышелъ изъ простаго народа, самъ продрался къ свѣту изъ темноты и въ интеллигента превратился, стало быть, хорошо русскую душу понимать долженъ... Просвѣтился и насъ теперь хочетъ просвѣтить, своихъ оставленныхъ въ темнотѣ братьевъ! Что ему разная «интеллигенція»? Она и такъ науками по-горло сыта...

— Начнемъ, господа! Статья называется «Двѣ души»...

— Двѣ?—переспросилъ я.

— Двѣ!

Начали читать. Скоро очень читали. Я не успѣвала слѣдить и обдумывать. Слышала и думала: какой ученый чело-вѣкъ сталъ Максимъ Горькій. А вышелъ изъ низовъ народа, чуть не изъ босяковъ только. Вотъ головушка-то! Въ родѣ Ломоносова! Какой даровитый народъ! Даже гордиться захотѣлось... Только одно плохо: говорить много непонятнаго для насъ, неученыхъ, словъ много интеллигентскихъ. И не уловишь, что онъ отъ себя говоритъ, а что другіе писатели говорятъ, а онъ только повторяетъ и соглашается. Прочитали статью эту и стали говорить и спорить. А я—въ сторонѣ. Не разобрался хорошенъко, успокоенія никакого не получилъ, но почувствовала сильную обиду. Почему? Можетъ быть, обида отъ неправильнаго пониманія? Не знаю. Попадались отдѣльные мѣста, которыя я схватывала на лету и которыя обижали мою душу. Осталось такое впечатлѣніе, точно изъ всѣхъ народовъ мы—самые плохіе люди, на которыхъ только и остается плюнуть и для которыхъ у Горькаго не нашлось ни одного добраго слова, а только одно поруганіе. А можетъ, ошибаюсь... Не поняла, не дослушала.

— Господа! Будьте такъ добры: плохо я поняла, въ чемъ

дѣло-то по Максиму Горькому. Объясните мнѣ въ короткихъ понятныхъ словахъ!

— Вотъ о чемъ пишетъ Горькій. Есть двѣ души: восточная и западная...

— Это-то я понялъ! И понялъ, что западная душа—хорошая, а восточная—плохая...

— Правильно, товарищъ!.. А далѣе Горькій говоритъ, что въ насъ, русскихъ, борятся двѣ души...

— Не понялъ я: про культурный классъ онъ это говоритъ или про рабочихъ и крестьянъ?

— Вообще. Про русскій народъ.

— Такъ.. Двѣ души въ насъ, восточная и западная.. А своя душа куда дѣвалась? Своей, стало быть, нѣтъ и не было?..

— Невѣрно, господа!—заговорилъ другой товарищъ. — И своя, славянская душа у насъ Горькимъ допускается... Вотъ что пишетъ Горькій: «У насъ двѣ души: одна отъ кочевника—монгола, мечтателя, мистика и лѣнтяя, а рядомъ съ этой безсильной душою живетъ душа славянина, которая можетъ вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горитъ, быстро угасая, и мало способна къ самозащитѣ отъ ядовъ, привитыхъ ей, отравляющихъ ея силы».

— Стало быть, восточная душа въ насъ сильнѣе своей собственной?

— Да.

— Ну, а я такъ понялъ, что славянская душа передъ западной ничего не стоитъ. Стало быть, намъ надо двѣ души изъ себя вытравить и посадить туда одну западную? Такъ, что ли? Чай, у интеллигентовъ-то еще и третья душа, западная, сидитъ?

— Не совсѣмъ такъ... Хотя... Съ одной стороны, конечно, наша общественная мысль вырабатывалась...

— Дайте, пожалуйста, книжечку-то! Я самъ просмотрю, читаю...

— Лучше поговоримъ. А книгу мы вамъ дадимъ, дома читаете...

Начались разговоры о «Двухъ душахъ». Я не вмѣшивался, а только слушалъ умныхъ и ученыхъ товарищей. Понялъ такъ, что и они Горькаго не особенно-таки одобряли.

Вотъ что мнѣ запомнилось изъ этихъ разговоровъ.

— Душа и характеръ народа вырабатываются историческимъ процессомъ, политическими и экономическими условиями жизни, географическими данными и т. д. И какимъ образомъ въ одномъ человѣкѣ двѣ души въ одну соединиться не могутъ, а только все борятся? Словно двѣ птицы въ клеткѣ!.. Беллетристика!

— Если вопросъ идетъ о навыкѣ мыслить, то наша мыслительная душа, поскольку она отражается въ наукѣ, искусствахъ, литературѣ, никоимъ образомъ не продуктъ помѣси востока со славянствомъ, а скорѣе—помѣси запада со славянствомъ. А что касается народной массы, такъ она просто невѣжественна и некультурна, въ чемъ меньше всего виновата сама...

— Собственно, большинство доказательныхъ ссылокъ авторъ черпаетъ изъ жизни нашей буржуазіи и внутренней политики, которую народъ никогда не дѣлалъ... При чемъ же тутъ народъ и народная душа?

— Вотъ тебѣ и материалистическое обоснованіе исторіи! Вотъ тебѣ и классовая борьба въ историческомъ процессѣ! Вмѣшалась въ ходъ историческаго процесса «монгольская душа» и все дѣло испортила! Весь народъ въ Обломова превратила!..

— Напустилъ ученаго туману! При чемъ тутъ востокъ? Можно говорить о вліяніи монгольскаго ига, какъ фактора, задержавшаго нашу политическую эволюцію, но объяснять нашу политическую и экономическую структуру и отсталость вліяніемъ восточной души — это... просто-таки безграмотно! Евреи, видите ли, тоже востокъ, Японія—тоже востокъ, Финикіяне—тоже востокъ, да и Китай, который грозитъ опередить насъ, — тоже востокъ! Вотъ тебѣ и восточная душа! Евреи были тоже въ рабствѣ, были подъ игомъ египетскимъ, однако, это не повело къ мирному сожителству у нихъ двухъ душъ:

египетской и еврейской? Вѣдь, всѣ арійскія племена съ востока пришли...

— Для марксиста, послѣдователя матеріалистическаго обоснованія исторіи, это научное выступленіе Горькаго большой и неожиданный сюрприз!

— И все свалилъ въ одну кучу: и романтизмъ, и мистицизмъ, и Обломова, и Евгенія Онѣгина, и народное богоискательство, и странничество—все это устроила восточная душа! Можетъ быть, и невѣжество народное, одинъ кабакъ для увеселенія, темнота, грязь и бѣдность—тоже отъ того у нашего мужика, что въ немъ сидитъ восточная душа и мѣшаетъ ему стремиться къ просвѣщенію, къ расширенію культурныхъ потребностей и увеличенію своего благосостоянія? Пьянство наше Горькій тоже объясняетъ восточной душой, хотя всѣмъ давно извѣстно, что въ Россіи выпивалось вина и водки значительно менѣе, чѣмъ въ Германіи и, особенно, въ Англіи!..

Тутъ ужъ я не вытерпѣлъ. Теперь я вдругъ понялъ, почему отъ горьковской статьи я почувствовалъ одну обиду и оскорбленіе...

— Вотъ Горькій пишетъ, что «обломовщина» свойственна всѣмъ классамъ нашего народа... Говоритъ это Горькій! Выходитъ, что и мы, какъ баринъ Обломовъ, не работаемъ, а больше на диванѣ валяемся! Это мы и до Горькаго отъ помѣщиковъ и отъ всѣхъ «хозяевъ» слышали! И какъ только повернулся языкъ у Горькаго выговорить эту барскую, хозяйскую неправду?! А еще самъ изъ народа выбился...

— Онъ, вѣдь, не деревенскій, а городской. Изъ городскаго мѣщанства. Деревню-то да мужиковъ онъ, какъ и всѣ интеллигенты, только по книгамъ изучалъ... Ставить рядомъ Евгенія Онѣгина, пресыщеннаго и скучающаго барина, получившаго къ своей помѣщицѣй душѣ западную прививку, рядомъ съ какимъ-нибудь богоискателемъ-мужикомъ, быть можетъ, и не тамъ, гдѣ слѣдуетъ по Горькому, ищущимъ правды Божіей на землѣ,—такъ простительно сдѣлать развѣ гимназисту, да и то не больше, какъ пятаго класса! Люди доходятъ въ этихъ по-

искалъ до самоожженія, а Горькій усматриваетъ здѣсь только «обломовщину»!

— Обругаться, господа, мнѣ хочется!—сказаль я.

— Вотъ это у васъ отъ востока! Ругаться не слѣдуетъ...

— Не ожидалъ я отъ Горькаго такой глупости... (Простите, господа, за выраженіе!)

— Конечно, онъ не профессоръ, а доморощенный, такъ сказать, философъ!

— Въ такомъ случаѣ, не лѣзь на профессорскую кафедру!

— Вѣрно говорятъ: и въ книгахъ, если ихъ очень много проглотишь, запутаться можно!.. Ну, а что, господа, о любви къ родинѣ-то въ горьковскомъ журналѣ написано? Почитаемъ-ка! Мнѣ это тоже очень нужно бы знать...

Прочитали статью «Нужны ли убѣжденія». Хотя журналъ помѣстилъ эту вещь изъ жалости къ автору и сдѣлалъ примѣчаніе, что редакція не во всемъ вполнѣ согласна съ нимъ, но въ чемъ именно несогласна—не сказалъ: очевидно, разногласіе въ воззрѣніяхъ незначительное...

Опять статья путаная. Видно, что написана не для нашего брата, рабочаго, а специально для Плеханова, котораго Горькій позволяетъ въ своемъ журналѣ называть то крѣпостнымъ рабомъ Фирсомъ, то лакеемъ Смердяковымъ. За что? Почему? Про какую любовь говорить горьковскій старичокъ? Онъ подмѣняетъ любовь къ родинѣ любовью къ правительству...

Или старичокъ, по дряхлости лѣтъ, не дѣлаетъ тутъ различія и тоже, какъ самъ Горькій, все валитъ въ одну кучу? Нехорошо выходитъ.

— Плехановъ—оборонецъ...

— Значитъ, лакей правительства и Фирсъ, по рабству, преданный своему барину?

— Опять двѣ души оказалось у русскаго человѣка—Плеханова, Бурцева и всѣхъ такихъ интеллигентовъ, которые любятъ свою родину больше Германіи, и, главное,—неизвѣстно, за что любить-то. Двѣ души: фирсовская и смердяковская...

— Совсѣмъ западная душа у Горькаго, безъ всякой под-

мѣси восточной и славянской, если онъ согласился дать мѣсто этому старичку.

Опять всё начали критиковать, горячиться...

— Выходить, что нѣмецкіе социаль-демократы могутъ любить свою родину, а нашимъ любить не за что. Наша любовь къ родинѣ унодобляется крѣпостной любви Фирса къ своему барину!

А по-моему, вотъ тутъ-то и сидитъ смердяковское лакейство передъ «умственностью». «Хочу быть только социалистомъ—и кончено! И родина—чепуха, и исторія—чепуха, и національное самоопредѣленіе—чепуха. Что такое Россія? Невѣжественная, некультурная, грязная, бѣдная, жестокая... Только рабы Фирсы могутъ любить ее!.. То ли дѣло Германія или Италія!» Не напоминаетъ ли, однако, это Бальмонтское: «Хочу быть смѣлымъ, хочу быть дерзкимъ... Я такъ хочу!» Но, вѣдь, и тамъ люди любятъ свою родину, не меньше социализма? Не согласятся, пожалуй, итальянцы, если нѣмецкіе «товарищи» предложить имъ забыть, что они итальянцы? Да и въ силахъ ли это человѣческихъ? Законы свои имѣетъ исторія-то народовъ, и никакъ, къ сожалѣнію, не выскочишь изъ ея наслѣдія прямо въ «человѣка, звучащаго гордо».

— И насъ-то, рабочихъ, больно ужъ старичокъ простачками считаетъ!—вставилъ я свое слово.—Поди, сумѣемъ отличить войну оборонительную отъ завоевательной, а не сумѣемъ, такъ вы, умные и ученые товарищи, намъ поможете. Конечно, не такъ глупо, какъ старичокъ это въ своемъ письмѣ дѣлаетъ, стараюсь поймать Плеханова. Хотѣлъ поймать, да самъ въ лужу и сѣлъ! Ужъ надо совсѣмъ дуракомъ быть, чтобы всякое военное дѣйствіе въ непріятельской странѣ считать за войну завоевательную! Въ этомъ-то мы скорѣе разберемся, чѣмъ въ восточной душѣ и смердяковской любви къ родинѣ. Въ японскую войну мы, дѣйствительно, вели завоевательную кампанію, а теперь, господа, на это не похоже! Дай Богъ, свою родную землю отстоять! И напрасно старичокъ въ своей статьѣ пугаетъ насъ... На краю могилы стоитъ, а вретъ изо всѣхъ силъ! Умиравшимъ прикидывается...

Въ три голоса отчитывать тамъ старичка стали: отъ восточной душѣ, отъ русской національности и отъ любви къ родинѣ...

— Не отъ Вильгельма ли хвораютъ старичокъ этотъ?

— Да ужъ, конечно, не отъ Плеханова, Бурцева и русской «интеллигенціи»...

— Можно и нужно защищать свои идеалы, но, вѣдь, это уже напоминаетъ басню Крылова о «Пустынникѣ и Медвѣдѣ»!

— Настоящей вѣры въ свой идеалъ нѣтъ. Въ научное обоснованіе социализма, видимо, редакция журнала не особенно вѣрить, если помѣстила старичка въ свою богадѣльню и объявила умирающимъ... Заживо отпѣвать начали!..

— Коли дѣло такой оборотъ приняло, такъ, вѣдь, колесо-то исторіи не повернешь!.. И самъ Горькій сдѣлать этого не сможетъ...

Прочитали еще статью г. Плуталова о томъ, какъ два пассажира въ поѣздѣ разговаривали и «другъ дружку разными страхами стращали»... Тоже путанная статья. Конецъ выходить. Спросилъ ученыхъ товарищей, какъ понять.

— Заживо насъ отпѣваютъ!

— И духовникомъ нѣмецкій милитаризмъ дѣлаютъ!.. Сей духовникъ поможетъ намъ въ царствіе небесное переправиться!..

Слушалъ я эти разговоры, а въ моей душѣ одинъ вопросъ стоялъ: отвергаетъ Горькій въ своемъ журналѣ любовь къ родинѣ или признаетъ? Хорошо или нѣтъ, если рабочіе любятъ родину? Не могу понять, какъ можно любить свой народъ и не любить своей родины!..

Перечитали приводимую старичкомъ выдержку изъ Розанова: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно, когда она слаба, унижена, наконецъ, глупа, даже порочна. Именно когда наша мать пьяна и вся запуталась въ грѣхѣ—мы должны не отходить отъ нея». Такую любовь въ Горьковскомъ журналѣ и называютъ любовью раба Фирса къ барину, и такую именно любовь открыли въ Плехановѣ, Бурцевѣ и прочихъ «интеллигентахъ».

— А вѣдь старичокъ-то подтасовкой занимается, господа! Развѣ вся наша исторія общественной мысли и общественнаго движенія не свидѣтельствуетъ о томъ, что русская интеллигенція, вотъ именно такая, какъ Плехановъ, Бурцевъ и имъ подобные, начиная съ декабристовъ и кончая послѣднимъ днемъ, борется съ разными болячками своей родины, что именно любовь къ родинѣ и къ своему народу освѣщала всю нашу исторію жаждой видѣть свою мать обновленной, просвѣщенной, свободной? Развѣ мало выходило на арену этой борьбы людей изъ интеллигенціи, крестьянъ и рабочихъ, вообще изъ нѣдръ народныхъ, чтобы нужно было доказывать ложь и клевету на русскій народъ, возводимую авторомъ такимъ уподобленіемъ и утвержденіемъ, что любовь къ болячкамъ своимъ и есть наше «нутряное»?

— Кто же такой самъ Горькій, какъ не тотъ же интеллигентъ, выскочившій, какъ Венера изъ морской пѣны, изъ нѣдръ русскаго народа?

— Да, здѣсь, господа, уже другой Крыловской басней пахнетъ!..

— Да, хорошую Горькій аттестацію выдалъ въ своемъ журналѣ русской душѣ, русскому народу и его интеллигенціи!..

— Эхъ, господа! Сами себя вы мало уважаете, какъ же вы хотите, чтобы насъ другіе-то уважали?! Кричите о человѣкѣ и о личности человѣческой, а какъ разногласіе,—плевать начинаете и на противника, да, и на самихъ себя!..—вырвалось у меня.

— Это ужъ не разумное уваженіе къ западу, а самое заправское лакейство передъ нимъ. Пословица у насъ, русскихъ, есть: заставь дурака Богу молиться, такъ онъ и лобъ расшибетъ!

Долго интеллигенты спорили. Всѣ обижались и на Горькаго, и другъ друга...

— Человѣка любить надо! А не свой народъ... Для социалиста—это «кумовство»!..

— Если я не люблю своего народа, почему я могу полюбить человѣка? Мы-то, русскіе, кто? Не люди мы, что ли?

— Дальняго слѣдуетъ любить больше, чѣмъ ближняго!

— Ну, это ужъ вы говорите кому-нибудь другому, а не намъ, рабочимъ! Намъ приходится любить именно ближняго, своего рабочаго, живого человѣка, а не того, который еще не родился!.. Наша сила—въ единеніи живыхъ, а не въ союзѣ съ неродившимися.

Потомъ прочитали статью г. Базарова и еще больше перестали понимать другъ друга: оказывается, что признанное программю социалистовъ всѣхъ странъ «національное самоопредѣленіе»—вещь реакціонная, мѣшающая социализму!

— Что же это, господа, такое? Теперь ужъ окончательная неразбериха у васъ... и въ душѣ, и въ мозгу! Не лучше, чѣмъ у меня, мало образованнаго человѣка... Запутались, запутались окончательно...

— Ну, а какъ же быть съ Польшей, Бельгіей, Сербіей, Финляндіей, съ малорусскимъ и еврейскимъ вопросами? Единая культура! Можетъ быть, авторъ говорить о наукѣ и техникѣ?

— Нѣтъ, о культурѣ народовъ. Видимо, о духовной культурѣ, т.-е. языкѣ, нравахъ, вѣрованіяхъ, литературѣ...

— А какъ же тогда восточная, славянская и западная душа? Вѣдь душа-то въ культурѣ сидитъ? Вѣдь, нѣтъ единой и западной культуры, а есть и нѣмецкая, и англійская, и французская... Быть можетъ, когда-нибудь, въ туманѣ грядущихъ вѣковъ, и образуется единая культура, но тогда и «двунадесяти языковъ» не будетъ, а теперь они есть и подъ гребенку ихъ всѣхъ никакъ не острижешь! Мечтать о земномъ раѣ разрѣшается всякой душѣ, но исторія категорически заявила уже, что путь въ этотъ рай идетъ чрезъ національное самоопредѣленіе... Намъ, россіянамъ, во всякомъ случаѣ, говорить объ упраздненіи «національнаго самоопредѣленія» не приходится.

— У людей будетъ какая-нибудь общая вѣра въ какого-нибудь общаго бога, вѣроятно, земного происхожденія, а не небеснаго, общій языкъ, общая литература и т. д.

— Господа! Вѣдь, все это—внѣ времени и пространства...

Вонъ «Эсперанто» есть, да не хотятъ народы на этомъ языкѣ разговаривать!.. А сейчасъ-то что дѣлать и какъ быть?

— Болячку надо скovyрнуть!

— Къ этому необходимо готовиться, опытныхъ докторовъ созвать и т. д. Однако, вѣдь нѣмцы-то не будутъ смотрѣть, сложа руки, на то, какъ мы свою болячку колупаемъ, а потому на войну наплевать ни на одну минуту нельзя... Если бы вы сказали мнѣ такъ: будемъ помогать побѣдѣ, но ни одну минуту не забывать о своей болячкѣ, мѣшающей намъ и въ этомъ дѣлѣ, и, при первомъ удобномъ моментѣ, приступимъ къ операціи, ибо безъ нея конецъ придетъ! А вы мнѣ толкуете, что любовь къ родинѣ—признакъ рабской души русскаго человѣка, что и на войну и на судьбу родины можно наплевать, что и любить-то намъ родину не за что... А коли такъ, такъ не о чемъ и толковать: не только на войну, но и на «болячку» можно плюнуть! Но, господа, вѣдь, социализмъ существуетъ для народовъ, а не народы для социализма!..

— Господа! Вы не такъ понимаете!

— Да какъ же по-другому можно понять то, что мы прочитали?

— Мы не вполне согласны съ тѣмъ, что читали...

— Ну, Богъ съ вами! Прощайте! Самъ какъ-нибудь разберусь, а съ вами только окончательно заплутаюсь...

— Возьмите «Лѣтопись»-то!

— Нѣтъ, благодарю!.. Это выходитъ уже не «Лѣтопись», а «Самоубійство»!

Иванъ Сознательный.

Post-scriptum.

Письмо Ивана Сознательнаго, окончательно застрявшаго въ той «неразберихѣ», которую преподносятъ читателямъ «Лѣтопись», въ особенности же статья М. Горькаго о «Двухъ душахъ», способная повергнуть въ зловредный пессимизмъ вся-

каго русскаго челоуѣка, побуждаетъ меня, по мѣрѣ силъ и разумѣнія, сказать нѣсколько словъ ободряющаго характера...

Всѣмъ извѣстно, что славянская натура—широкая натура. Хорошо это отразилось въ извѣстной пѣсенкѣ Алексѣя Толстого:

Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!

Вотъ именно эту характерную особенность славянина и не слѣдуетъ ни на минуту упускать изъ виду при чтеніи статьи М. Горькаго о «Двухъ душахъ». «Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!» Съ М. Горькимъ это случалось и раньше: рубнулъ сплеча и ругнулъ сгоряча онъ нашу литературу въ лицѣ ея лучшихъ классиковъ въ 1905 г. въ газетѣ «Новая Жизнь», отложивъ перо художника и взявъ въ руки тяжелый мечъ литературнаго критика, М. Горькій «рубнулъ» этимъ мечомъ, и оказалось, что наши лучшіе писатели всѣ, «не исключая даже Герцена»,—мѣщане! Обѣхалъ всю Европу, побывалъ въ Америкѣ и опять ругнулъ и рубнулъ сплеча: «плюнулъ» въ лицо одной изъ культурнѣйшихъ и свободолюбивѣйшихъ странъ Запада. И вотъ теперь онъ снова свершилъ сей подвигъ славянской натуры. На этотъ разъ, отложивъ перо художника, М. Горькій захотѣлъ явить намъ себя мужемъ науки, прочиталъ намъ лекцію по философіи всемірной исторіи на тему «объ историческихъ душахъ народовъ земнаго шара»...

Въ семъ философскомъ трудѣ для насъ, соотечественниковъ новаго ученаго, какъ и для русскаго народа вообще, естественно интересоваться всего болѣе взглядомъ Горькаго-философа на русскую душу и русскій народъ. Рубнулъ сплеча—и вотъ новое открытіе въ сжатомъ видѣ:

Въ русскомъ народѣ укрѣпились начала Востока, обезличивающія душу. Эти начала вызвали развитіе жестокости, изуверства, мистико-анархическихъ сектъ: скопчества, хлыстовства, бѣгунства, странничества и вообще стремленіе къ уходу

изъ жизни, а также развитіе пьянства до чудовищныхъ размѣровъ... Обломовщина типична для всѣхъ классовъ нашего народа. Безчисленная масса «лишнихъ людей», всевозможныхъ странниковъ, бродягъ, Онѣгиныхъ во фракахъ, Онѣгиныхъ въ лаптяхъ и зипунахъ, людей, которыми владѣеть безпокойство, охота къ переменѣ мѣстъ—это одно изъ характернѣйшихъ явленій русскаго быта—тоже отъ Востока и является ничѣмъ инымъ, какъ бѣгствомъ отъ жизни, отъ дѣла и людей.

Прочитавъ сей научный трудъ, вѣроятно, очень многіе интеллигентные читатели, не говоря уже о мужахъ науки, спеціалистахъ, почувствовали нѣкую неловкость.

Неловкость—неловкостью. Однако, въ данномъ выступленіи имѣется кое-что и болѣе значительное, чѣмъ «скандалъ въ литературномъ семействѣ». Тутъ выдается аттестація всему русскому народу, весьма похожая на тотъ плевокъ, которымъ удостоилъ М. Горькій «лицо одной прекрасной страны». Молча обтираться не приходится.

Первое открытіе: «Поборовшая славянскую душу восточная душа русскаго человѣка вызвала въ немъ развитіе жестокости».

Не отвергая отдѣльныхъ фактовъ жестокости въ жизни русскаго народа, мы спросимъ: можетъ ли М. Горькій утверждать, что жестокость есть отличительная черта русскаго народа? Психическая черта народности? Чтобы бросить въ лицо своего народа столь тяжкое обвиненіе, необходимо имѣть въ рукахъ хотя бы сравнительныя цифровыя данныя о количествѣ жестокихъ преступленій въ другихъ странахъ, стоящихъ на той же степени культурнаго развитія. Надо доказать, что на путяхъ жизни другихъ западныхъ племенъ и народовъ такой жестокости не было. Мягкость и добродушіе славянской натуры, жалливость простого народа ко всякаго рода несчастнымъ, даже врагамъ своимъ, стояла въ аттестаціи русскаго народа довольно-таки твердо какъ въ художественной, такъ и въ научной литературѣ. Но вотъ взялся за изслѣдованіе славянской души М. Горькій и нашель совсѣмъ другое: нашель восточ-

ную жестокость, какъ психическую особенность славянскаго племени!

Несомѣнно,—низкая степень культурности и «Власть тьмы», какъ слѣдствіе, съ одной стороны, исторической отсталости, а съ другой—очень продолжительнаго искусственнаго невѣжества, помогли сохраниться въ народномъ быту пережиткамъ старины, но развѣ даже и при названныхъ, исключительно неблагоприятныхъ, условіяхъ жизни, народъ не далъ намъ яркихъ образцовъ своей мягкой любвеобильной души, своего добродушнаго юмора, своей исключительной незлобивости? Что касается соціальной жестокости, проявляемой нашимъ народомъ при политическихъ и экономическихъ эксцессахъ, то эта жестокость ничуть не больше соціальной жестокости другихъ народовъ, а значительно слабѣе, чѣмъ у культурнѣйшихъ западныхъ сосѣдей. Примѣръ на-лицо: соціальная жестокость способовъ веденія войны культурнѣйшей Германіи заткнула насъ, какъ говорится, за поясъ! (А инквизиція? А негры? А судъ Линча? А терроръ великой революціи?)

Это лживое и несправедливое обвиненіе нашего народа М. Горькимъ мы должны отвергнуть съ глубочайшимъ негодованіемъ!.. Тотъ же Горькій—не ученый Горькій, а Горькій-художникъ, если и рисуетъ намъ случаи жестокости у своихъ героевъ, то нигдѣ не объясняетъ ихъ психикой племени, а исключительно темнотой разума и тяжелыми соціальными условіями народной жизни...

Открытие М. Горькаго, нашедшаго въ русской душѣ монгольскую и славянскую помѣсь съ преобладаніемъ первой, т.е. монгольской, удивительно тожественно съ научными открытіями современной обслуживающей милитаризму германской «соціальной антропологіи», стремящейся съ помощью всевозможныхъ натяжекъ доказать, что нѣмцы,—не нація, а раса, отличная отъ романской и славянской по происхожденію, совершенно чистая отъ примѣси монгольской и африканской крови. Отсюда нѣмецкая «милитаристская соціальная антропологія» выводитъ не только право Германіи на міровое господство, но и право, въ интересахъ цивили-

лизации всего человечества,—поглотить, истребить другія низшія вѣтви арійской расы (въ томъ числѣ, конечно, и славянскую). Это «Единство культуры», освѣщаемое специфической милитаристской наукою современныхъ нѣмецкихъ ученыхъ, конечно, оправдываетъ всѣ средства и способы войны... и всѣмъ, намъ и нашимъ союзникамъ, остается не противиться, а только радоваться торжественному шествію германскаго милитаризма...

Это ли не жестокость? Однако, народная душа тутъ не при чемъ, ибо не народъ—«хозяинъ» современной жизни. Душа народа раскрывается въ письменныхъ и устныхъ памятникахъ народнаго творчества, въ пословицахъ, въ пѣсняхъ, въ сказкахъ, въ религиозныхъ вѣрованіяхъ и обрядахъ, въ его литературѣ и искусствѣ. Что же, имѣетъ право, или хотя бы основаніе М. Горькій говорить, по этимъ отраженіямъ души, о славянской жестокости? На страницахъ нашей древней исторіи мы найдемъ жестокости ничуть не меньше, чѣмъ въ древней исторіи другихъ европейскихъ народовъ и, конечно, не послѣдователямъ матеріалистическаго пониманія исторіи, какимъ является М. Горькій, объяснять жестокость въ быту народовъ специфическимъ вліяніемъ Востока. Почему, наконецъ, жестокость типична для Востока? Для какого именно Востока? Востокъ родилъ буддизмъ, одну изъ самыхъ смиреннѣйшихъ и гуманнѣйшихъ религій, какъ родилъ онъ и гнѣвнаго «Бога мести», повелѣвавшаго «избранному народу» истреблять цѣлыя племена, не щадя женъ и дѣтей. Съ Востока же пришло и христіанство съ его заповѣдью любви и милосердія...

Склонность къ плевкамъ и расправамъ, проявленная М. Горькимъ по отношенію къ Франціи, къ русской литературѣ и интеллигенціи, теперь такъ же ярко сказалась въ этомъ странномъ изслѣдованіи русской души... Вошелъ на ученую кафедру и плюнулъ...

— Не плюй въ колодець: пригодится воды напиться! — съ полнымъ правомъ можетъ отвѣтить русской многострадальный народъ своему «ученому сыну» и спросить его:

— Откуда же ты пилъ живую воду своего творчества, какъ не изъ этого именно колодца?..

Второе обвиненіе: «изувѣрство и мистико-анархическое сектантство и странничество, затѣмъ чудовищное пьянство, какъ стремленіе уйти отъ людей и жизни».

Что первоначальнымъ мѣсторожденіемъ христіанскаго сектантства былъ Востокъ,—объ этомъ спорить не приходится. Первоначальное сектантство,—какъ и христіанство, само бывшее нѣкогда на положеніи секты въ іудаизмѣ,—началось на Востокѣ. Но обосновалось оно въ Европѣ какъ разъ не въ Россіи, а на воспѣваемомъ Западѣ.

До церковной реформы патріарха Никона сектъ у насъ почти не было (половина XVII ст.), между тѣмъ, какъ на Западѣ еще въ XV в. начались религіозныя броженія и сектантство, далекіе предвѣстники Реформаціи, и люди науки давно уже установили, что Западъ-то и оплодотворялъ въ большой степени нашу русскую сектантскую мысль. Подъ вліяніемъ протестантизма, напримѣръ, у насъ возникла и получила дальнѣйшее развитіе «секта евангелистовъ», изъ которой затѣмъ родилась секта «людей божіихъ», или христовщина, именуемая въ просторѣчій хлыстовщиной. Что въ Россіи всяческое сектантство имѣло особо благоприятную почву для своего развитія—спорить тоже нельзя, но что причины этой благоприятности лежали въ восточныхъ склонностяхъ русской души, а не въ области специфически русскихъ условій государственной жизни и государственной религіи—объ этомъ, насколько мнѣ извѣстно, въ русской наукѣ двухъ мнѣній не имѣется. Религіозное изувѣрство вовсе не специальный грѣхъ русскаго народа: инквизиція съ ея колдунами и вѣдьмами, съ ея кострами и пытками, имѣтъ родиною именно Западъ. Относить «богоискательство» русскаго народа, поскольку оно выражается въ нашемъ сектантствѣ мистическомъ (какъ и вообще въ сектантствѣ) къ проявленію желанія найти «хозяина», на котораго можно было бы свалить всю тяготу жизни,—какъ это дѣлаетъ М. Горькій,—просто безграмотно въ научномъ отношеніи. Это значить рубить съ плеча всё «Гордіевы узлы» жизни русскаго народа. Достаточно напо-

мнить мистическую секту духоборовъ и молоканъ, чтобы видѣть, что М. Горькій въ объясненіяхъ русскаго богоискательства на-поминаетъ «Мадамъ Санъ-Женъ». Соціальные идеи на религіозной почвѣ,—существенный признакъ большинства нашихъ мистическихъ сектъ, какъ всѣмъ, вѣроятно, извѣстно, при своемъ дальнѣйшемъ ростѣ приводили и приводятъ нашихъ богоискателей къ рѣзкому столкновенію съ дѣйствительностью современной жизни и ея «хозяевами», за что этихъ «лишнихъ людей» и не глядятъ по головкѣ, какъ людей вредныхъ для разныхъ нашихъ устоевъ. Вонъ, духоборамъ пришлось искать «хозяина» въ Америкѣ! Не вѣрнѣ ли, что они проявляютъ желаніе сами сдѣлаться хозяевами своей жизни?

М. Горькій преподноситъ намъ скопчество. Но научные источники свидѣтельствуютъ о томъ, что и скопчество пришло къ намъ чрезъ Италію, а не явилось путемъ самозарожденія въ народной русской душѣ. У насъ появились скопцы во имя спасенія души, а Западная Европа занималась до XVIII вѣка оскотченіемъ людей для выдѣлки тонкихъ голосовъ для церковнаго пѣнія и возношенія хвалы небесамъ; современная новая западная наука «Евгеника» во имя любви къ человѣчеству намѣчаетъ тоже «кастрацію»...

Полагаю, что и приводимыхъ данныхъ вполне достаточно, чтобы видѣть прямолинейное верхоглядство ученаго Горькаго, который, страшно боясь «хозяина», готовъ объяснять имъ всю духовную жизнь нашего народа. «Бѣгунство», которое М. Горькій приводитъ въ числѣ прочихъ восточныхъ пороковъ русскаго народа, никоимъ образомъ—не бѣгство отъ людей и жизни. Вотъ что положено въ основаніе секты «бѣгуновъ» ея творцомъ, военнымъ дезертиромъ Евфиміемъ: «Апокалипсическій звѣрь—есть царская власть, икона — его власть гражданская, тѣло—его власть духовная (матеріальныя потребности тѣла заставляютъ покоряться человѣческую душу «антихристовой печати»). Такъ какъ открыто бороться съ этимъ «антихристомъ» нельзя, то приходится бѣгать отъ него, порвать гражданскую связь, уклоняться отъ всякихъ повинностей, паспортовъ и присяги. Развѣ это бѣгство отъ жизни, а не отъ не-

правды ея устроения? Можно по-разному относиться къ этимъ блужданіямъ народной мысли и духа, но объяснять эти блужданія темнаго народа желаніемъ найти «хозяина» или уйти отъ людей и жизни—это значитъ просто не желать понимать и видѣть народной жизни. Обвиненіе русскаго народа въ чудовищномъ пьянствѣ, которое, по мнѣнію ученаго М. Горькаго, пришло будто бы съ Востока, а не отъ Витте и вообще навязанныхъ народу условій жизни,—стоитъ ли останавливаться на этомъ открытіи Горькаго? Въ немъ нѣтъ ни правды, ни справедливости, а опять одно прямолинейное верхоглядство и желаніе «плюнуть» какъ можно дальше.

Остаются: «лишніе люди» и «Евгеніи Онѣгины во фракахъ и въ лаптяхъ»,—какъ свойства «Обломовщины» во всѣхъ классахъ русскаго народа.

Что «лишніе люди», отраженные родной литературой,—явленіе не типично русское, достаточно напомнить, что совершенно тожественное явленіе отмѣчаетъ и западная литература: припомните романы Шпильгагена!

Сравнивать просвѣщеннаго помѣщика-барина, впаваго въ хандру отъ всякаго пресыщенія и разгоняющаго свою хандру путешествіями съ разными приключеніями, сравнивать этого «Евгенія Онѣгина» съ нашими странствующими по святымъ мѣстамъ мужиками и обоихъ называть общимъ именемъ Евгенія Онѣгина, различая ихъ лишь костюмомъ,—это ужъ такое открытіе М. Горькаго, которое по-истинѣ «достойно кисти Айвазовскаго!» У насъ были «калики-перехожіе», а на Западѣ пилигриммы. Путешествія въ Святую землю восходятъ ко временамъ средневѣковья, и мѣсторожденіе этихъ странствованій именно на Западѣ. Что такое явленіе получило у насъ распространеніе и сохранилось до сихъ поръ — опять имѣется тому и разумное объясненіе, и оправданіе. Я думаю, что искать его надо въ религіозномъ направленіи мысли народной. Да и самъ М. Горькій въ своемъ «странникѣ Лукѣ» далъ намъ иное, чѣмъ даетъ теперь, истолкованіе народному странничеству...

— «Иду въ хохлы: тамъ, слышно, новую вѣру открыли!»

— «Все хочется дѣла-то человѣческія понять!»

Вотъ что говоритъ намъ горьковскій Лука.

А рассказъ Луки про «праведную землю»?..

Таково послѣднее научное выступленіе М. Горькаго. Что касается Востока и Запада въ ихъ противоположеніи, то кромѣ выдержекъ изъ множества прочитанныхъ книгъ авторомъ, какъ и самъ онъ признается, ничего новаго не усматривается. Ну, а вотъ что касается русской души и русскаго народа, — то, дѣйствительно, въ этой области сказано не только много «н о в а г о», но и крайне неожиданнаго, чтобы не сказать болѣе. А въ концѣ-концовъ, хочется, съ горестью въ душѣ, повторить слова дѣдушки Крылова:

— «Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, а сапоги тачать—пирожникъ!»

II.

ПРИ СВѢТѢ ЗДРАВАГО СМЫСЛА.

Кто изъ здравомыслящихъ, непредубѣжденныхъ и просвѣщенныхъ читателей, познакомившись съ произведеніемъ г. Д. Тальникова, напечатанныхъ въ январской книжкѣ горьковской «Лѣтописи» подъ заглавіемъ «При свѣтѣ культуры»,— не вспомнилъ безсмертныхъ «Плодовъ просвѣщенія» писателя земли русской Льва Толстого?..

Да вѣдь это почти копія той сцены изъ «Плодовъ просвѣщенія», гдѣ три мужика, забравшіеся въ барскій городской особнякъ съ своими деревенскими гостинцами, подвергаются всестороннему освѣщенію европейской культуры! Конечно, въ «Плодахъ просвѣщенія» нельзя искать подлинной правды жизни, ибо художественное произведеніе имѣетъ свою иную правду; художникъ—не фотографъ: онъ, какъ пчела съ цвѣтовъ, собираетъ медъ своего творчества изъ отдѣльныхъ, раздѣленныхъ пространствомъ и временемъ фактовъ дѣйствительной жизни и проводитъ ихъ чрезъ окуляръ своего творчества, концентрирующий, такъ сказать, сущность не вещей, не фактовъ, а цѣлаго явленія жизни. При этомъ художественномъ методѣ изслѣдованія явленій жизни, получается какъ бы сгущенный экстрактъ этихъ явленій. Въ «Плодахъ просвѣщенія» Левъ Тол-

стой употребилъ, однако, не одинъ этотъ методъ художественнаго воплощенія, но пользовался еще рефлексоромъ своего спеціального, соціально-христіанскаго міропониманія. Отъ этого получилась каррикатурность. И городская и деревенская культура и просвѣщенный европеецъ-баринъ, житель большого культурнаго города, и темный мужикъ, житель деревни, оба получились фигурами до изумленія жизненными, но неправильно освѣщенными.

Въ барскомъ домѣ разсматриваютъ мужика, какъ нѣкую козявку, подъ микроскопомъ, даютъ ему глупые совѣты, одни радуются, что мужикъ принесъ деньги, другіе боятся его и кричатъ:

— Какъ же пускать людей съ улицы въ домъ? Какъ пускать мужиковъ въ домъ! Нельзя пускать въ домъ людей, которые ночевали, Богъ знаетъ, гдѣ! Въ одеждахъ у нихъ— всякая складка полна микробовъ: микробы скарлатины, дифтерита, оспы! Докторъ! Докторъ!

Въ барской кухнѣ, гдѣ царствуетъ деревенская культура, по-своему судятъ о культурѣ городской, барской:

— Постомъ лопаютъ скромное — дѣло господское, по книжкамъ дошли, потому умственность. Господская пища воздушная, но въ аппетитѣ: здоровы больно жрать. Жрутъ и запиваютъ сладкими винами, оно, значить, и проносить пищу-то. Какъ свиньи у корыта. Только, Господи благослови, глаза продерутъ, сейчасъ—самоваръ, чай, кофей, щиколадъ. А тутъ завтракъ, а тутъ обѣдъ, а тутъ опять кофій. Только отваятся, сейчасъ опять—чай. А тутъ закуски пойдутъ; въ постели лежатъ, и то ѣдятъ.

— Ну, а когда же дѣла-то дѣлаютъ?

— Какія у нихъ дѣла! Въ карты да въ фортепяны — только и дѣловъ. Балы у нихъ: барыни разряжены у нихъ—страсть, а по сихъ мѣсть голыя и руки голыя!

— Тыфу, скверность!

— Старая наша барыня—у ней, мотри, внуки есть, а тоже оголилась!

А надъ всѣмъ этимъ висить «о, Господи!» и тяжкая жалоба:

— Помилосердствуй, отецъ! Земля наша малая, куренка и того, скажемъ, выпустить некуда! Хлѣба своего до Рождества не хватаетъ!..

Разговоры мужиковъ деревенскихъ, пришлыхъ и переселившихся въ городъ изъ деревни, и отношеніе и разговоры господъ, культурныхъ жителей города, ихъ жизнь, занятія и взгляды—даютъ намъ два міра, двѣ правды, но обѣ эти правды условныя, одностороннія и для объективно-научнаго вывода не годятся, ибо на основаніи этого художественнаго воплощенія жизни мы должны сдѣлать такое невѣрное заключеніе, что всѣ господа горожане—обжоры, тунеядцы, лѣнтыи, моты и дураки, а всѣ мужики либо подобны «тремъ святителямъ», либо непременно умнѣе, справедливѣе, честнѣе и лучше господъ горожанъ. Да и вообще дѣлать обобщенія соціального содержанія на основаніи только художественныхъ произведеній, особенно только избранныхъ изслѣдователемъ авторовъ, безъ всякаго участія въ этихъ выводахъ безстрастныхъ показателей научныхъ данныхъ и безъ соблюденія извѣстной исторической перспективы—значить заранѣе обречь себя на грубыя непоправимыя ошибки.

Особенно слѣдовало бы это помнить критикамъ, разсматривающимъ жизнь человѣческихъ обществъ съ точки зрѣнія классовой борьбы въ историческомъ процессѣ, ибо для такихъ критиковъ обязательенъ методъ изслѣдованія по основной марксистской заповѣди: «Бытіе опредѣляетъ сознаніе, а не сознаніе—бытіе». А если такъ, то, разсматривая такимъ методомъ художественное произведеніе съ соціальнымъ содержаніемъ, надо не дѣлать исключенія и для самого автора этого произведенія. Для этого метода нѣтъ единой общей правды, а есть правда условная, классовая. Нѣтъ, поэтому, и объективныхъ художественныхъ произведеній съ соціально-политическимъ содержаніемъ. Затѣмъ для всякаго критика обязательна историческая перспектива и разсмотрѣніе каждаго автора и его произведенія въ условіяхъ извѣстнаго пространства и времени, въ соот-

вѣтствіи съ историческимъ моментомъ и его особенностями, обязательна добросовѣстность въ самомъ пользованіи художественнымъ произведеніемъ, его толкованіемъ, выдержками, безъ собственныхъ прикрасъ, безъ утаекъ и подтасовокъ. Лично я не поклонникъ классоваго метода въ критикѣ художественныхъ произведеній, но для г. Тальникова этотъ методъ съ его «Сознаніе опредѣляется всецѣло бытіемъ» обязательнъ со всѣми вытекающими изъ него требованіями, что не освобождаетъ его, однако, и отъ всѣхъ другихъ требованій честнаго и добросовѣстнаго критика.

Посмотримъ, какъ выполняетъ свой долгъ критика г. Тальниковъ въ своей статьѣ «При свѣтѣ культуры».

Для освѣщенія русской деревни и ея обитателя, мужика, составляющаго двѣ трети всего народа русскаго, г. Тальниковъ избираетъ четырехъ авторовъ, совершенно различнаго бытія, а потому и различнаго сознанія: гг. Чехова, Бунина, Подъячева и Вольнаго и при томъ беретъ ихъ не цѣликомъ, а въ нѣкоторой части, нужной ему въ какихъ-то заранѣ поставленныхъ себѣ дѣляхъ. При помощи этихъ разноцвѣтныхъ свѣтильниковъ различнаго бытія и сознанія, дѣлавшихъ свои наблюденія при различныхъ общественныхъ устремленіяхъ и настроеніяхъ, въ крайне незначительныхъ пространственно областяхъ, можно сказать, каждый изъ своего окошечка, г. Тальниковъ освѣщаетъ жизнь и цѣнность сто пятнадцати милліоновъ крестьянъ, почти 87% всего населенія Россіи, живущаго на пространствѣ почти пяти милліоновъ квадратныхъ верстъ! Чтобы добавить къ нимъ хотя такого знатока мужицкой жизни, быта и психологии, какъ великій писатель земли русской, Левъ Толстой? прихватить писателя изъ крестьянъ Семенова, остановиться на поэтахъ изъ мужиковъ въ книжкѣ, выпущенной съ предисловіемъ М. Горькаго, а тѣмъ болѣе на произведеніяхъ самого М. Горькаго, наконецъ, не игнорировать такого писателя, какъ Шмелевъ? Что бы, кстати, не пересмотрѣть хотя бы «Ежемесячнаго Журнала», въ которомъ множество крестьянъ сами пишутъ о деревнѣ и своей жизни, о своихъ печаляхъ, радостяхъ и чаяніяхъ? Честный, добросовѣстный критикъ, пе-

боящійся притти къ правдивымъ, а не предвзятымъ выводамъ, такъ бы именно и обязанъ былъ сдѣлать. Мало того, онъ и при такомъ матеріалѣ не рѣшился бы высказать категорическаго рѣшенія, не поставилъ бы окончательнаго приговора, ибо историческій опытъ указалъ, что наша интеллигентская психика сама въ себѣ заключаетъ нѣчто, что всегда приводило къ ошибкамъ и не такихъ знатоковъ народной жизни, какъ молодой начинающій соратникъ М. Горькаго, г. Тальниковъ!

Но что дѣлать? Должно быть «Лѣтопись» не нашла болѣе компетентнаго изслѣдователя русской народной жизни, быта и русской души, чѣмъ сей молодой человекъ. Назвался грибомъ—полѣзай въ кузовъ! Очевидно, молодой человекъ угодилъ, ибо иначе ближайшій руководитель журнала, М. Горькій, сдѣлалъ бы хотя столь же туманную оговорку о нѣкоторомъ несогласіи съ авторомъ, какую сдѣлала редація къ письму «Недоумѣвающего старичка». Что взять съ услужливаго молодого человека? Онъ «творилъ волю пославшаго». Только. И выполнилъ свое дѣло отменно, по рисункамъ великаго маэстро, автора «Двухъ душъ». А посему, оставивъ въ сторонкѣ г. Тальникова, будемъ говорить съ почтенной редакціей «Лѣтописи».

И башмаковъ еще не износилъ М. Горькій, когда восторженно закричалъ въ своемъ произведеніи «Лѣто»:

— Съ праздникомъ, великій русский народъ! Съ воскресеніемъ близкимъ, милый!

Пусть это поздравленіе было преждевременнымъ для русскаго народа и прозвучало тогда, какъ «Исаія, ликуй» на похоронахъ. Мужикъ почесалъ въ затылкѣ, однако, сказалъ съ поклономъ:

— Спасибо и на добромъ словѣ!

Великій русский народъ! Милый русский народъ! Звучитъ очень красиво и гордо.

Казалось бы, что близкое воскресеніе «великаго и милаго» русскаго народа сдѣлалось еще ближе; что воскресеніе это свершается по всѣмъ правиламъ классовой борьбы; что историческая необходимость этого воскресенія, какъ заря на небѣ,

бьются усиленнымъ темпомъ. Вотъ уже поютъ первые пѣтухи предъ разсвѣтомъ: даже въ нашей Государственной Думѣ представители мужиковъ заявили:

— Деревня много дала! Эта страшная война всей своей главною тяжестью обрушилась именно на деревню и мужика. Кто будетъ отрицать, что, въ сущности деревня, мужикъ ведетъ войну? Мужикъ и рабочій въ первой линіи! А разъ деревня много дала, она много должна и получить! Позвольте передать вамъ, что говоритъ деревня: «Когда была спокойная жизнь, деревня была позабыта. Когда пробилъ грозный часъ, когда явилась нужда грудью отстаивать государство и защищать родину, тогда передовыя сословія разступились и дали широкую дорогу деревнѣ въ передовые ряды фронта!.. Объ обезпеченіи деревни, однако, никто не думаетъ... Не думайте же, что изъ деревни можно брать безъ конца, ничего ей не давая!..

«Что Россія обновляется, мѣняетъ свой обликъ и съ внѣшней и съ внутренней стороны, этого не видятъ только слѣпые!— пишеть въ «Ежемѣсячномъ Журналѣ» г. Сурожскій.—Загляните внимательными глазами вглубь страны, въ глушь, въ нѣдра русской жизни, и вы увидите, какъ подъ вліяніемъ послѣднихъ лѣтъ, происходятъ измѣненія и повороты въ личной и общественной жизни деревни... Оцѣпенѣніе прошло, горячая кровь прилила къ мертвѣющимъ тканямъ, и весь организмъ страны сталъ обновляться, воскресать!» Остановливаясь далѣе на хаотической ломкѣ всего быта и уклада деревенской жизни, авторъ отмѣчаетъ намѣтившіяся уже устремленія новой грядущей деревни, въ которой рѣзко намѣчается самокритика, жажда знанія, стремленіе къ освобожденію личности отъ пережитыхъ формъ быта, къ новому религиозному пониманію, чуждому церковности, къ новой общественности. О томъ же свидѣтельствуютъ «Записки крестьянина», печатавшіяся въ журналѣ «Сѣв. Записки» за 1915 годъ.

— Строится и строится жизнь, поскрипываетъ, а претъ по какимъ-то новымъ дорогамъ.

«Тѣ же какъ-будто стоять тихія избы, а сколько новыхъ узловъ заплелось и запуталось за оконцами, за сѣренькими стѣнами!»—говоритъ чуткій бытописатель Шмелевъ.

— Великое ожиданіе преобразило всѣхъ,—пишетъ Чапыгинъ, а далѣе съ изумленіемъ останавливается передъ словами мужика-солдата: «Мнѣ, что австріякъ, что нѣмецъ—все одно. А ты вотъ, парень, пойми: народу у насъ сила? Такъ? А всѣ дураки, сами себя растеряли. Спроси, гдѣ живешь?—Въ Россіи. А какая она, Россія?—Не знаю!..»

Жажда знанія, причастія къ культурѣ, порождаетъ великое изобиліе самоучекъ-поэтовъ изъ крестьянъ, изъ рабочихъ. Стихи ихъ дышатъ любовью къ родинѣ, проникнуты болью за темноту деревни, надеждами на воскресеніе родины и еще, что весьма знаменательно, сознаниемъ тѣсной близости мужика и рабочаго. Какъ двуликій богъ Янусъ, зтотъ мужикъ и рабочій въ произведеніяхъ поэтовъ, самоучекъ изъ нѣдръ народныхъ. Еще въ 1913 году, по даннымъ кооперативнаго съѣзда, выяснилось, что, несмотря ни на какія препоны административной опеки и «министерскаго просвѣщенія», кооперація прочно стала уже на ноги и идетъ рука объ руку съ общимъ культурнымъ подъемомъ народныхъ массъ. Уже тогда въ Россіи насчитывалось 2.600 коопераций, съ 6.500.000 членами, съ семьями составляють 32.500.000 человѣкъ, т.е. пятую часть всего населенія. Народъ освѣщаетъ это движеніе не однимъ свѣтомъ экономическихъ интересовъ, онъ связываетъ его съ общимъ стремленіемъ къ свѣту изъ вѣковой темноты. Это движеніе обслуживается уже 35 журналами, газетами, нѣкоторые изъ которыхъ печатаются въ 10.000 экземплярахъ. Мужики-поэты смотрятъ на это движеніе съ глубокой радостью, какъ на предвѣстникъ воскресенія деревни:

Этой лучшей жизни новой
Яркій свѣтъ теперь блеснулъ,
Мужика къ счастливой жизни
Снѣ огуломъ потянулъ.
И отъ спячки допотопной мужикъ бодро встрепенулъ
Энергично, расторопно лѣни долги сонъ стряхнулъ!
И газета въ деревенькѣ
Путеводною звѣздой
Теперь свѣтитъ по маленьку,
Разгоняя мракъ ночной!..

М и к у л а - П а х а р ь .

Предвѣстники пробужденія и воскресенія деревни начались еще года за три до нашей революціи. Мужикъ, какъ лишенный права голоса, молчалъ еще, а господа «зубры» Тульской губерніи уже забили тревогу. Произведя изслѣдованіе экономическаго упадка населенія, тульскіе зубры указали правительству, что «развязался хомуть и опустились вожжи: молодежь не слушается стариковъ, власть родительская быстро ослабѣваетъ, а безвластный отецъ не можетъ, какъ должно, вести хозяйство; молодежь ходитъ на фабрики и возвращается оттуда хулиганами, между тѣмъ какъ мѣстныя экономіи остаются безъ рабочихъ рукъ, платятъ въ тридорога и тоже приходятъ въ упадокъ. Для восстановленія правильной жизни въ деревнѣ необходимо ходатайствовать о распространеніи власти волостного суда—права ему наказывать за неповиновеніе родителямъ и за дурное поведеніе».

Вотъ когда еще зубры почували «движеніе воды» въ деревнѣ! Почували и встревожились, забили въ охранительный набатъ. Орловская помѣщица, родственница Гоголевской Коробочкѣ, выпустила тогда же брошюру подъ заглавіемъ «Sum cuique» (Всякому свое), въ которой съ ужасомъ смотритъ на результаты мужицкой грамотности:

— Школа способствуетъ развитію непригодныхъ для деревни свойствъ, отнимаетъ у ней работниковъ и наводняетъ городъ низшимъ рабочимъ классомъ, совершенно вытѣсняя изъ него городской пролетаріатъ, вслѣдствіе чего получается сразу два зла: I—деревни бѣднѣютъ рабочими руками и этимъ одинаково нарушается благосостояніе всѣхъ деревенскихъ хозяевъ, какъ мужика, такъ и крупнаго землевладѣльца, и II—за наплывомъ рабочихъ рукъ изъ деревни городской пролетаріатъ остается не у дѣль и превращается въ нищаго.

А далѣе орловская помѣщица жалуется на мужика въ такихъ выраженіяхъ:

— Мужикъ—коммунистъ и до извѣстнаго возраста никакъ не можетъ разобраться, что твое и что—мое; личная отвѣтственность въ немъ никогда не развивалась, и онъ превратилъ

ся изъ утѣсняемаго при крѣпостномъ правѣ въ утѣснителя. Теперь въ немъ произволь и разнужданность!

Къ тѣмъ же годамъ относится докладъ тульскаго помѣщика-полковника дворянскому собранію подѣ заглавіемъ: «Дворянская правда».

Въ этой «Дворянской правдѣ» было написано буквально слѣдующее:

— Если прогрессъ дореформенной Россіи картинно изобразимъ въ видѣ невольницы, томящейся въ заключеніи съ оковами на рукахъ и ногахъ, то нынѣ видимъ эту особу освобожденной не только изъ оковъ, но даже и отъ одеждъ, и перенесенной изъ каземата въ притонъ разгула. Согласимся же, что освобожденіе изъ притона стократно необходимѣе, неотложнѣе, чѣмъ освобожденіе изъ тюрьмы!

Причину золь авторъ видитъ въ томъ, что мы подпустили къ мужику интеллигенцію, въ то время, какъ могли итти самобытнымъ путемъ, при этомъ дѣлаетъ ссылки на Карла Маркса и на Некрасова: «Если Россія будетъ продолжать итти по тому пути, по которому она шла съ 1861 года, — цитируетъ этотъ «тульскій марксистъ», — она лишится самаго прекраснаго случая, который когда-либо представляла народу исторія, чтобы избѣжать всѣхъ перипетій капиталистическаго строя»...

А Россія пошла, и вотъ въ результатѣ дворянскія имѣнія разорены, а мужикъ и рабочій развращены интеллигенціей. Дворянинъ ненавидитъ интеллигента, развратившаго, по его убѣжденію, народъ, мужика, и называетъ интеллигента, какъ и «Недоумѣвающий старичокъ» изъ «Лѣтописи», лакеемъ! Удивительное совпаденіе!

— Что такое интеллигентъ?—вопрошаетъ «тульскій марксистъ» изъ зубровъ и отвѣчаетъ:

— Если иностранное прозвище замѣнимъ наиболѣе подходящимъ словомъ «умникъ», то кличка характеризуетъ самозваннаго представителя прогресса такъ же удобно, какъ трактирнаго лакея кличка «человѣкъ»!

Для подкрѣпленія своей мысли зубрь беретъ... Некрасова!..

Немного выигралъ народъ
И легче нѣтъ ему покуда
Ни отъ чиновныхъ мудрецовъ,
Ни отъ фанатиковъ народныхъ,
Ни отъ начитанныхъ глупцовъ,
Лакеевъ мыслей благородныхъ!

Вотъ эти «начитанные глупцы, лакеи мыслей благородныхъ» и есть наша интеллигенція!..

И такъ идетъ тревога, бьютъ въ набатъ приспѣшники и лизоблюдники стараго строя, указывая на злобщїе симптомы воскресенія. А мужикъ радуется и ждетъ этого воскресенія.

Съ тѣхъ поръ мужикъ пережилъ японскую войну, революцію, подвергся земельной реформѣ, переживаетъ всемирную катастрофу... Это окончательно всколыхнуло весь укладъ мужицкой жизни, вызвало усиленіе всякой критики и самокритики, перевернуло вверхъ дномъ весь его экономической укладъ, разбудило мысль и творчество, измѣнило семейныя отношенія, поколебало все мужицкое «обычное право»... По даннымъ «Тюремнаго Вѣстника», за послѣдніе три года болѣе 80% политическихъ преступниковъ дало крестьянство!..

Казалось бы, что именно теперь слѣдуетъ поздравлять «великій и милый русскій народъ съ воскресеніемъ близкимъ» и пѣть «Исаія, ликуй». Нѣтъ, не тутъ-то было: въ «Лѣтописи» въ три голоса запѣли «Со святыми упокой», а затѣмъ выпустили молодого человѣка, г. Тальникова, который отвѣтилъ съ клироса на тотъ же голосъ:

— Аминь!

«Лѣтопись» заставила молодого критика сдѣлать большую лоханку изъ Чехова и Бунина, наполнить ее дегтемъ подобранныхъ специально для сего случая цитатъ, подлить злорадной «отсебятинки» и, взявъ помело вмѣсто пера, измазать съ головы до ногъ безотвѣтнаго пока русскаго мужика!

— Что вы, г. Тальниковъ, дѣлаете съ русскимъ народомъ?—изумляются читатели, а М. Горькій стоитъ въ наполеоновской позѣ и поощряетъ:

— Мажь, мажь! Деготь-то нашъ!

И молодой человекъ изо всѣхъ силъ старается. Помажетъ и плюнетъ, помажетъ и плюнетъ. Ухъ, какъ черно выходить! Какое тамъ «воскресеніе» великому и милому русскому народу?!

Посмотримъ, какъ въ «Лѣтописи» устроили лоханку для дегтя, которымъ густо вымазали безъ всякихъ оговорокъ или съ оговорками, загораживающими всякій просвѣтъ на солнце, русскаго мужика.

Каждога писателя нужно, конечно, разсматривать въ связи съ породившей его эпохою, ея главнымъ русломъ направленія общественной мысли и чувства. Чеховъ не былъ никогда «идеологомъ народничества». Онъ—плоть отъ плоти эпохи 80-хъ и 90-хъ годовъ, времени страшной реакціи, разочарованія въ народничествѣ и народовольчествѣ.

Чтобы правильно понять крупнаго писателя-художника, какимъ былъ Чеховъ, нельзя брать его по кусочкамъ, нельзя разсматривать въ плоскости современности, нельзя отрѣзать его отъ той эпохи, въ которую онъ писалъ и думалъ. Чеховъ явился въ ту пору, когда русская дѣйствительность уже разбила всѣ народническіе «кусты». Уже у Глѣба Успенскаго, а особенно у Каронина, мы не находимъ никакого народническаго романтизма. Жизнь разбила его вдребезги, и русская интеллигенція осталась съ однимъ разбитымъ корытомъ. Наступила долгая и тяжкая реакція безидеологическаго безвременья, разочарованности, усталости, сознанія своего безсилія, страшнаго огорченія и ощущенія интеллигенціею своей никчемности. Интеллигенція, послѣ сильнаго и красочнаго подъема въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ, почувствовала себя «лишними людьми». Чеховъ былъ сыномъ этой страшной эпохи «тишины и спокойствія» и, какъ большой и чуткій, остро воспринимавшій это безвременье человекъ, всецѣло творилъ подъ настроеніемъ сумрачной и хмурой психики тогдашнихъ лучшихъ

людей. «Идеологомъ» онъ никогда не былъ, онъ былъ всегда только вдумчивымъ и проникновеннымъ созерцателемъ жизни. Остатки разбитаго народничества забаррикадировались тогда въ «толстовщину», но это были тѣ обломки потонувшаго корабля, въ спасительность которыхъ можно было вѣрить лишь отъ отчаянія. Не стало никакой вѣры и никакихъ надеждъ. Во что вѣрилъ Чеховъ?

«Я не вѣрю въ нашу интеллигенцію. Я вѣрю въ отдѣльныхъ людей, я вижу спасеніе въ отдѣльныхъ личностяхъ, разбросанныхъ по всей Россіи тамъ и сямъ». «Во мнѣ течетъ мужицкая кровь и меня не удивишь мужицкими добродѣтелями»,—писалъ въ письмахъ Чеховъ. Не одну деревню и мужика далъ намъ этотъ «отдѣльный» прекрасный человекъ и огромный импрессионистскій художникъ. Онъ оставилъ намъ картину всей Россіи восьмидесятыхъ и частью девяностыхъ годовъ. Вотъ какъ онъ описываетъ намъ культуру современнаго ему города: «Во всемъ городѣ ни одного честнаго человека! Дома—проклятыя гнѣзда, въ которыхъ сживаютъ со свѣта матерей, дочерей, мучаютъ дѣтей. Нужно одурять себя водкой, картами, сплетнями, надо подличать, ханжить, чтобы не замѣчать всего ужаса, который причется въ этихъ домахъ!» А вотъ характеристика города, изъ котораго ушелъ въ маляры герой разсказа «Моя жизнь»: «Во всемъ городѣ я не зналъ ни одного честнаго человека. Мой отецъ (лучшій архитекторъ) бралъ взятки, и воображалъ, что это даютъ ему изъ уваженія къ его душевнымъ качествамъ; гимназисты, чтобы переходить изъ класса въ классъ, поступали на хлѣба къ своимъ учителямъ, и эти брали съ нихъ большія деньги; жена воинскаго начальника во время нароба брала съ рекрутовъ и даже позволяла угощать себя и разъ въ церкви никакъ не могла подняться съ колѣнъ, такъ какъ была пьяна; во время набора брали и врачи, а городской врачъ и ветеринаръ обложили налогомъ мясныя лавки и трактиры; въ уѣздномъ училищѣ торговали свидѣтельствами, дававшими льготу по третьему разряду; благочинные брали съ подчиненныхъ причтовъ и церковныхъ старость; въ городской, мѣщанской, во врачебной и во всѣхъ про-

чихъ управахъ каждому просителю кричали вслѣдъ «благодарить надо!» А тѣ, которые взятокъ не брали, какъ, на примѣръ, чины судебного вѣдомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодностью и узостью суждений, играли много въ карты, много пили, женились на богатыхъ, и, несомнѣнно, имѣли на среду вредное развращающее вліяніе.

Неугодно ли еще образчикъ культурности города: «Наши лавочники поили собакъ и кошекъ водкой или привязывали къ хвосту собаки жестянку изъ-подъ керосина, поднимали свистъ, и собака... мчалась по улицѣ, гремя жестянкой, визжа отъ ужаса: ей казалось, что ее преслѣдуетъ по пятамъ какое-то чудище. У насъ въ городѣ было нѣсколько собакъ, постоянно дрожавшихъ, съ поджатыми хвостами, про которыхъ говорили, что онѣ не перенесли такой работы—сошли съ ума». (Здѣсь невольно вспоминается обычное уличное удовольствіе Парижской улицы—обливать крысъ керосиномъ и зажигать. Вспоминаются наши столичные «кошкодавы». Затѣмъ вспоминается любимая солдатская «ротная собачка», предметъ нѣжности и общаго вниманія мужиковъ-солдатъ и въ казармѣ и на войнѣ.) Въ разсказахъ Чехова почти всѣ жители городовъ, интеллигенты, купцы, чиновники обрисованы въ столь же мрачномъ свѣтѣ; изъ этихъ разсказовъ о городѣ съ его европейской культурою, съ его профессорами, миллионерами, дворянами и прочими видами городского жителя я могъ бы вамъ выбрать тысячу такихъ цитатъ, отъ которыхъ у васъ содрогнулась бы вся душа! Но въ мои задачи не входитъ дѣлать изъ Чехова лохань для дегтя, которымъ было бы можно съ головы до пятъ измазать культурнаго человѣка, а потому я и не нахожу нужнымъ оглушивать читателя подходящими цитатами изъ Чеховскихъ произведеній. По особенностямъ историческаго момента сдѣланный Чеховымъ пересмотръ русской жизни, всей жизни, городской и деревенской, сдѣлать было необходимо, а по свойству своего таланта, своей художественной кисти, по способности художественной концепціи и умѣнью концентрировать факты жизни, нужныя для яркости мысли и созданія извѣстнаго впечатлѣнія и настроенія въ читателѣ, пересмотръ этотъ по-

лучилъ характеръ, какъ и у Толстого въ его «Плодахъ просвѣщенія» несомнѣнной преувеличенности, сгущенности до экстракта. И Чеховскую правду надо разсматривать не какъ правду жизни, а тоже, какъ правду художественную, условную, дающую лишь основной мотивъ грустнаго и безнадежнаго русскаго бытія въ тяжелую реакціонную эпоху 80-хъ и 90-хъ годовъ, бытія всего, цѣликомъ, а вовсе не одной только деревни. Импрессионистски работая красками, стущая ихъ и накладывая рѣзкіе красочные мазки, Чеховъ и деревню написалъ намъ такую, въ которой сконцентрированы всѣ ужасы мужицкой жизни, какъ онъ далъ намъ такой же городъ. Однако, и при этой преднамѣренной концентраціи ужасовъ дѣйствительности, Чеховъ не могъ игнорировать правду жизни до конца. Г-нъ Тальниковъ всю эту правду жизни считаетъ просто малодушіемъ и остатками преклоненія предъ изжитой идеологіей народничества. Чеховъ, какъ мы уже говорили, никогда никакимъ идеологомъ не былъ и, оставаясь постороннимъ зрителемъ, созерцателемъ, одно время заинтересовался и увлекся не «толстовствомъ», требовавшимъ опрощенія до мужицкой жизни во имя нравственнаго усовершенствованія и спасенія души, а самой философіей толстовскаго ученія, теоріей, а не практикой его. Увлеченіе тоже чисто созерцательное, отвѣченное, да инымъ оно и не могло быть. Вотъ чего не договариваетъ изъ письма Чехова г. Тальниковъ: «дѣйствовали на меня не основныя положенія, которыя были мнѣ извѣстны и ранѣе, писалъ Чеховъ, а толстовская манера выражаться, разсудительность, и, вѣроятно, гипнотизмъ своего рода. Теперь же во мнѣ что-то протестуетъ; расчетливость и справедливость говорятъ мнѣ, что въ электричествѣ и парѣ больше любви къ человѣку, чѣмъ въ цѣломудріи и воздержаніи отъ мяса. Война—зло, и судъ—зло, но изъ этого не слѣдуетъ, что я долженъ ходить въ лаптяхъ и спать на печи вмѣстѣ съ работникомъ, его женой и пр.» Не плодомъ увлеченія «толстовствомъ» явилась повѣсть «Моя жизнь», какъ называетъ ее г. Тальниковъ, а какъ разъ обратно: плодомъ разочарованія въ этой философіи, плодомъ скепсиса въ основахъ этого послѣдняго убѣжища «народ-

ничества». Чеховъ никогда въ народъ не ходилъ, не опроцался, не садился на землю въ толстовскомъ смыслѣ, а потому и разочаровываться въ увлеченіи мужикомъ и мужицкой праведной жизнью, ему не было надобности. «Во мнѣ течеть мужицкая кровь,—писалъ Чеховъ въ томъ же письмѣ,—и меня не удивишь мужицкими добродѣтелями». А при увлеченіи «толстовствомъ» именно эти «мужицкія добродѣтели» и требовались. Такимъ образомъ, «Моя жизнь! есть не плодъ увлеченія, а плодъ разочарованія въ самой теоріи и потому никакой дани толстовству, т.е. увлеченію «мужицкой правдой», въ этой повѣсти не могло быть и не было. А если это такъ, то недобросовѣстно со стороны критика игнорировать, смазывать тѣ мѣста повѣсти, гдѣ Чеховъ говоритъ что-либо въ пользу деревни и мужиковъ. Какъ, напримѣръ, было можно выпустить и только мимоходомъ пронически скользнуть по цѣлой страницѣ, на которой написано:

«Она (Маша) негодовала, на душѣ у нея собиралась накипь, а я между тѣмъ привыкалъ къ мужикамъ и меня все больше тянуло къ нимъ. Въ большинствѣ это были нервные раздраженные, оскорбленные люди; это были люди съ подавленнымъ воображеніемъ, невѣжественные; съ бѣднымъ тусклымъ кругозоромъ, все съ однѣми и тѣми же мыслями о сѣрой землѣ, о сѣрыхъ дняхъ, о черномъ хлѣбѣ... Въ самомъ дѣлѣ, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всемъ томъ, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая, въ общемъ, держится на какомъ-то крѣпкомъ, здоровомъ стержнѣ. Какимъ бы неуклюжимъ звѣремъ ни казался мужикъ, идя за своей сохой, и какъ бы онъ ни дурманилъ себя водкой, все же, приглядываясь къ нему поближе, чувствуешь, что въ немъ есть то нужное и очень важное, чего нѣтъ, напримѣръ, въ Машѣ и въ докторѣ, а именно онъ вѣритъ, что главное на землѣ—правда, и что спасеніе его и всего народа въ одной лишь правдѣ, и потому больше всего на свѣтѣ онъ любитъ справедливость. Когда Маша, эта добрая умная женщина, говорила, блѣднѣя отъ негодованія и съ дрожью въ голосѣ, о пьянствѣ и обманахъ, то меня приводила въ недоумѣніе и поражала ея забывчивость. Какъ могла она

забыть, что ея отецъ, инженеръ, тоже пилъ, и что деньги, на которыя были куплена Дубечня, были приобрѣтены путемъ цѣлаго ряда наглыхъ, безсовѣстныхъ обмановъ?»

Все, что въ повѣсти «Моя жизнь» можно употребить на критическій десотъ для мужиковъ, г. Тальниковъ признаетъ правдой отъ «свѣта культуры», а все, что служить въ объясненіе и оправданіе мужиковъ—ложью отъ «тмы народничества», хотя, вѣдь, и народники — Герценъ, Толстой, Михайловскій и др. нельзя сказать, чтобы были людьми менѣе культурными, чѣмъ г. Тальниковъ или даже М. Горькій. Очевидно, тутъ дѣло не въ «Свѣтѣ культуры». Вѣдь, и народничество не съ вѣтру принесло съ Востока. И у писателей-народниковъ «сознаніе опредѣлялось бытіемъ».

Если бы «Моя жизнь» была плодомъ увлеченія толстовствомъ, то Чеховъ не выбралъ бы героиней такую особу, какъ Маша. Маша—цвѣтъ городской культуры. Она — столичная дѣвушка, приѣхавшая съ инженеромъ на постройку желѣзной дороги въ провинціальный городъ, гдѣ, послѣ шумной великосвѣтской жизни, послѣ тысячи одного культурнаго столичнаго удовольствія стала томиться скукой, отъ которой, какъ извѣстно, дохнуть даже мухи. Даже здѣсь, въ провинціальномъ городѣ, они съ отцомъ ухитрились прожить двадцать тысячъ въ годъ! Вотъ эта особа отъ скуки и тоски провинціального прозябанія и заинтересовалась опростившимся интеллигентомъ изъ непреодлѣвшихъ гимназической премудрости и конторской карьеры. Сынъ извѣстнаго въ городѣ архитектора и вдругъ—маляръ! Любопытно. Познакомилась и увлеклась этой «дивовинкой». Толстовское опрощеніе было тогда въ модѣ, и Маша, «прекрасная, великолѣпная Маша», весело говорила герою:

— «Образованные и богатые должны работать, какъ всѣ! А если комфортъ, то одинаково для всѣхъ. Никакихъ привилегій не должно быть»...

«Она смѣялась, шалила, мило гримасничала, и это больше шло къ ней, чѣмъ разговоры о богатствѣ неправедномъ, и мнѣ казалось, что говорила она со мною давеча о богатствѣ и

комфортъ не серьезно, а подражая кому-то. Я мысленно ставилъ ее рядомъ съ нашими барышнями, и даже красивая, солидная Анюта Благово не выдерживала сравненія съ нею, разница была громадная, какъ между хорошей культурной розой и дикимъ шиповникомъ». Такъ вотъ эта самая «культурная роза столичныхъ садовъ», дочь жулика-инженера, привыкшая къ роскоши, комфорту, красочнымъ удовольствіямъ и столичнымъ наслажденіямъ всякими искусствами, и дофлиртывалась до законнаго брака съ маляромъ изъ недоучившихся интеллигентовъ, опростившихся по кодексу толстовскаго вѣроученія. Невѣстой она требовала, чтобы женихъ приходилъ къ ней не иначе, какъ въ обыкновенномъ своемъ костюмѣ маляра (это такъ оригинально!), а, сдѣлавшись законной супругою маляра, взяла у родителя солидную сумму денегъ и, сѣвъ на землю въ усадьбѣ разорившейся генеральши съ своимъ Мисаиломъ, начала благодѣтельствовать мужиковъ: строить на свои средства школу. Вѣнчались они въ церкви того самаго села, въ трехъ верстахъ отъ Дубечни, гдѣ потомъ затѣяли постройку школы и гдѣ знали героя, какъ свихнушагося съ «праведной пути» барина, который былъ раньше маляромъ, а героиню знали, какъ дочь того барина-инженера, который ихъ обсчитывалъ и билъ по мордѣ на постройкѣ желѣзнодорожнаго полотна. Принявъ всѣ сіи обстоятельства во вниманіе, о которыхъ г. Тальниковъ счелъ нужнымъ умолчать, вы и оцѣните, какъ отношеніе къ симъ героямъ мужиковъ, такъ и грозныя филиппики Маши по адресу деревни и мужиковъ. Всѣ обличенія мужиковъ дѣлаеть не Чеховъ, а его героиня Маша, которая, какъ только прошло лѣто, убѣжала отъ своего милаго и оригинальнаго маляра и отправилась въ дальнее плаваніе за океанъ. Бѣдный мужъ долженъ былъ утѣшиться и не роптать, ибо родитель Маши, почтенный тестюшка, и раньше предупреждалъ зятя о возможности быстрой разочарованности у своей дочки: «нашу жизнь,—говоритъ герой,—онъ называлъ комедіей, говорилъ, что мужиковъ надо драть, а про нашъ супружескій союзъ выражался слѣдующимъ образомъ:

— Съ Машей уже бывало нѣчто подобное... Она разъ во-

образила себя оперною пѣвицей и ушла отъ меня; я искалъ ее два мѣсяца и на однѣ телеграммы истратилъ тысячу рублей!..

Изъ Америки Маша написала бѣдному одураченному Мисаилу: «...Жива, здорова. Сорю деньгами, дѣлаю много глупостей и каждую минуту благодарю Бога, что у такой дурной женщины, какъ я, нѣтъ дѣтей»...

Вотъ эту-то особу, разыгравшую смѣшную коротенькую комедію на толстовскую тему, г. Тальниковъ и беретъ въ свидѣтели для своего обличенія мужиковъ, для утвержденія, что «интеллигентъ въ деревнѣ — чужой человѣкъ, что мужицкая справедливость—всегда была миеомъ, выдумкой пародниковъ».

«Интеллигентъ типа Г. Успенскаго отмѣчаетъ такое же грозное, тупое «не суйся!», а вѣдь онъ шель съ открытой душой»...—сравниваетъ г. Тальниковъ.

И сравненіе, г. Тальниковъ, недобросовѣстное, и объясненіе даете вы недобросовѣстное. Недовѣріе и ненависть ко всѣмъ привилегированнымъ классамъ, ко всѣмъ барамъ и господамъ, имѣеть въ жизни русскаго народа историческое, политическое и экономическое объясненіе, и начала этого недоовѣрія лежать въ глубинѣ прошлаго, восходя ко временамъ царствованія Алексѣя Михайловича, переходя въ крѣпостное право, въ условія его отмѣны, а вовсе не потому, что въ деревнѣ и вообще-то не можетъ быть иначе, потому что тамъ интеллигентъ ненуженъ и неумѣстенъ.

«Дикари-печенѣги!», говорить о людяхъ деревни героиня «Моей жизни» «чудная, великолѣпная» Маша, а г. Тальниковъ преподноситъ намъ это резюме скучающей и бѣсящейся съ жиру особы, какъ чеховскій выводъ о мужикахъ, и еще стучаетъ сей деготь такой «отсебятиной»:

«Пещерный бытъ обуславливаетъ звѣриныя права»...

А вотъ того, что слѣдуетъ за этой фразой Маши, г. Тальниковъ не приводитъ.

А между тѣмъ даже Маша, при всей ея легковѣсности въ общественныхъ вопросахъ, проявляетъ къ грубымъ мужикамъ болѣе терпимости, чѣмъ г. критикъ. И не только терпимости, но и нѣкотораго пониманія: обругавъ въ раздраженіи мужи-

говъ «дикарями-печенѣгами», «великолѣпная Маша» тутъ же замѣчаетъ:

«Въ деревнѣ новичковъ встрѣчаютъ непривѣтливо, почти враждебно, какъ въ школѣ. Такъ встрѣтили и насъ. Въ первое время на насъ смотрѣли, какъ на людей глупыхъ и простоватыхъ, которые купили себѣ имѣніе только потому, что некуда дѣвать денегъ. Надъ нами смѣялись». А далѣе слѣдуютъ жалобы на то, какъ мужики не признавали ихъ собственности, обманывали, дѣлали потравы, пасли въ саду свой скоть и т. д., словомъ тѣ же жалобы, какія слышатся и нынѣ со стороны всѣхъ «зубровъ» и «Коробочекъ», которыхъ мужики всѣми мѣрами стараются выкурить изъ деревни, съ земли, въ которой они всегда чувствовали недостатокъ. Жалобы Маши г. Тальниковъ тоже заносить въ аттестацію мужиковъ подъ рубрику присущаго мужику «анархизма» и «справедливости Дагомейцевъ». Воскличаніе Маши: «Какія животныя! Это ужасъ! ужасъ!» тоже на пользу г. Тальникову, и онъ вполне соглашается съ Машей: Отъ всего описанія жизни въ деревнѣ въ повѣсти «Моя жизнь» вѣтъ однимъ настроеніемъ, выраженнымъ опредѣленно въ словахъ героини:

«Страшно жить въ деревнѣ!»

Кому страшно и почему страшно?—Вотъ вопросы, надъ которыми слѣдовало бы остановиться особенно критику, послѣдователю теоріи классовой борьбы, но г. Тальниковъ любезно беретъ подъ руку «прекрасную великолѣпную» Машу и, съ ужасомъ озираясь на мужиковъ и деревню, спѣшитъ проводить свою даму въ экипажъ, на которомъ пріѣзжала Маша въ свою Дубечню, вторя ей шопотомъ:

— Дикари! Печенѣги! Это ужасъ! Какія животныя! Хулиганы! Порядочному человѣку нельзя жить въ деревнѣ! Уѣзжайте отсюда поскорѣе въ столицу, за океанъ, въ Америку!..

Особенно страшно было жить въ деревнѣ помѣщикамъ во времена Стеньки Разина, Емельки Пугачева, передъ освобожденіемъ отъ крѣпостной зависимости, во время нашей революціи... И теперь, пожалуй, особенной пріятности жить тамъ нѣтъ: послушайте, что говорятъ орловскія Коробочки, тульскіе

нія не подь субъективнѣмъ угломъ зрѣнія, какъ это было въ «Моей жизни», а объективно, подь угломъ художественной правды, и получаетъ не менѣ печальные результаты. И здѣсь людямъ, которые мечтають быть полезными деревнѣ, мужики создаютъ рядъ невыносимыхъ недоразумѣній, вытаптываютъ прекрасно насаженные сады, луга, безжалостно уничтожаютъ молодой лѣсокъ, ломаютъ плетень огорода, лишъ бы сломать, крадутъ новыя колеса, уздечки и т. д.». Послѣ сего резюме слѣдуетъ мимоходное краткое замѣчаніе автора:

«И все же, несмотря на жестокою дѣйствительность, Чеховъ не рѣшается, хотя бы теоретически, порвать со старой версіей о смиренномъ хорошемъ разумномъ богобоязненномъ бытѣ...» Затѣмъ огромное многоточіе критика и такое открытіе: «Чеховъ—переходная ступень въ литературѣ отъ полосы народничества и начинающагося скептицизма къ полосѣ подь знакомъ культуры».

«Услужливому» не въ мѣру критику, г. Тальникову, не мѣшало бы знать получше исторію русской литературы, какъ и самой «Лѣтописи». Чеховъ не начинаетъ полосу скептицизма по отношенію народничества, а кончаетъ, ликвидируетъ ее. Скептицизмъ въ народничествѣ начался еще у самихъ народниковъ. Еще въ 1878 году Михайловскій писалъ: «Пора бы намъ перестать толковать объ отличіи историческихъ путей, коимъ слѣдуетъ наше отечество, отъ тѣхъ, по которымъ шла и идетъ Европа». А далѣе Михайловскій совѣтуетъ «не закрывать безсмысленно глазъ на то, что творится кругомъ» и указываетъ на то, что у насъ слагается изъ купцовъ, помѣщиковъ и кулаковъ деревни совершенно опредѣленная буржуазія. Въ 1880 году Михайловскій уже потерялъ всякую надежду на столпы народнической теоріи и отъ мужика переноситъ свои надежды, и то политическаго, а не соціальнаго характера, на интеллигенцію, а послѣ 1881 года восклицаетъ:

— На что надѣяться? Во что вѣрить? Чего желать? Къ чему стремиться? Все разбито и раздавлено!

Такимъ же ущемленнымъ скептикомъ былъ Глѣбъ Успенскій и совершенно прозрѣвшимъ скептикомъ Каронинъ. Че-

ховъ пришелъ и поставилъ, такъ сказать, крестъ на могилѣ. Какая же онъ переходная ступень отъ скептицизма?! Очевидно, г. Тальникову понадобилось сказать эту неправду, чтобы не приводить выдержку изъ разсказа «Новая дача», который онъ ограничилъ собственнымъ резюме. Такъ какъ самъ критикъ называетъ этотъ разсказъ болѣе правдивымъ, болѣе объективнымъ, чѣмъ повѣсть «Моя жизнь», то позвольте остановиться на немъ болѣе подробно, чѣмъ дѣлаетъ это г. Тальниковъ, напомнимъ содержаніе и сдѣлать кое-какія выдержки, отъ которыхъ критикъ почему-то уклонился.

Начали строить недалеко отъ деревни желѣзнодорожный мостъ, пріѣхалъ въ коляскѣ инженеръ, а вскорѣ и жена его, Елена Ивановна, съ дѣвочкой, дочерью. Красота мѣста плѣнила заѣзжую барыню, мужъ купилъ здѣсь, на берегахъ рѣки, двадцать десятинъ земли и очень быстро, скоропалительно, на полянѣ, гдѣ раньше мужики пасли своихъ коровъ, какъ по щучьему велѣнью, выросла роскошная дача, аллеи, фонтанъ, оранжерея и неизбѣжные зеркальные шары. Откормленный кучеръ говорилъ мужикамъ, что ни пахать, ни сѣять на купленной землѣ господу не будутъ, а только будутъ по лѣтамъ «жить въ свое удовольствіе», «для чистаго воздуха». Мужики были малоземельные, бѣдные, и притомъ сразу лишились поляны, на которой пасли своихъ коровъ (очевидно, что и выгона для скота не имѣли). Мужикъ Козовъ сразу возненавидѣлъ и барскихъ племенныхъ бычковъ, и породистую лошадь, и дачу, и самихъ дачниковъ:

— Тоже помѣщики!

На новой дачѣ по вечерамъ жгли бенгальскіе огни и пускали ракеты. Хорошая барыня однажды побывала въ деревнѣ. Пріѣхала съ дочерью «въ коляскѣ съ желтыми колесами, на парѣ темно-гнѣдыхъ пони въ соломенной шляпкѣ съ широкими полями», заглянула въ одну избу и подарила на бѣдность три рубля. А въ деревнѣ проживали два охальника, отецъ и сынъ Лычковы: поймали двѣ господскія лошади, господскаго альгаузскаго бычка на своемъ лугу, загнали его и кричатъ:

— Моду какую взяли! Дай имъ волю, такъ они всѣ лу-

зубры и защитники «Дворянской правды», о которыхъ была рѣчь выше! Пугливый вы, однако, «марксистъ», г. Тальниковъ, если такъ преждевременно вы хватаетесь даже за юбку «великолѣпной Маши»! А помимо этой трусости мы находимъ и прямо завѣдомую недобросовѣстность въ пользованіи выдержками изъ Чехова. Обмазывая деревню и мужиковъ своимъ детемъ, г. Тальниковъ вставляетъ тутъ же слѣдующую фразу: «И въ письмахъ своихъ Чеховъ говоритъ много объ «азиатской странѣ» (т. 5, стр. 384). Разъ это чеховское выраженіе—«азиатская страна» вкрапливается въ цѣлый рядъ цитатъ, служащихъ г. Тальникову для освѣщенія свѣтомъ своей культуры деревни и мужика, то всякій долженъ подумать, что Чеховъ употребилъ это выраженіе именно для характеристики деревни и мужика. Развертываю источникъ и читаю письмо Чехова къ Суворину отъ 24 апрѣля 1899 г. по поводу суда чести литераторовъ, къ которому они призвали Суворина черезъ свой «Союзъ». И вотъ Чеховъ, проживая въ то время въ Москвѣ, отвѣчаетъ:

— «...Судъ чести у литераторовъ, разъ они не составляютъ такой обособленной корпораціи, какъ, напримѣръ, офицеры, присяжные повѣренныя, — это безсмыслица, нелѣпость; въ а з і а т с к о й странѣ, гдѣ нѣтъ свободы печати и свободы совѣсти, гдѣ правительство и девять десятыхъ общества смотрятъ на журналиста, какъ на врага, гдѣ живетъ такъ тѣсно и такъ скверно, и т. д.»

Вы убѣждаетесь, что выраженіе «азиатская страна» употреблено совершенно по другому поводу, къ деревнѣ никакого отношенія неимѣющему и скорѣе характеризующему именно нашу городскую культуру и культурное житіе. Затѣмъ, гдѣ же эти многіе разговоры объ азиатской странѣ? Почему г. Тальниковъ дѣлаетъ только одну ссылку на одно письмо?

То же самое г. Тальниковъ продѣлываетъ и съ другимъ рассказомъ Чехова «Новая дача». Здѣсь критикъ расправляется съ Чеховымъ еще проще. Просто, безъ ссылокъ и выдержекъ, даетъ собственное резюме такого характера и содержанія: «Здѣсь Чеховъ рисуетъ безотрадныя деревенскія отноше-

га потравить! Не имѣете права обижать народъ, крѣпостныхъ теперь нѣтъ!

И содрали съ господь пять дѣлковыхъ, которые, конечно, пропили. А между тѣмъ сами мужики травили у барина луга, вырѣзали у него въ лѣсу «два дубка», перекопали свою дорогу въ Ереснево, отчего барину пришлось давать три версты крюку. Баринъ сперва поговорилъ съ мужиками, попробовалъ ихъ вразумить. Потомъ пришла пѣшкомъ барыня въ деревню, въ мужицкую семью и стала ласково спрашивать про житье:

— Какая наша жисть! Сами, барыня, видите! Всего семейства 14 душъ, а добытчиковъ только двое. Бѣдность! Работаемъ—конца краю нѣтъ.

А барыня имъ:

— Въ этой жизни вамъ тяжело, зато на томъ свѣтѣ вы будете счастливы.

— Барыня, голубушка, богатому и на томъ свѣтѣ ладно: богатый свѣчи ставить, молебны служить, нищимъ подаетъ, а мужикъ что?.. Должно, нѣтъ намъ счастья ни на томъ, ни на этомъ свѣтѣ. Все счастье богатымъ досталось.

Барыня стала убѣждать, что не въ богатствѣ счастье, затѣяла душевный разговоръ о своемъ скверномъ самочувствіи и т. д. А въ концѣ благородной душевной исповѣди передъ обступившими мужиками, бабами и дѣвками, пообѣщала выстроить имъ школу, поправить дороги, вообще благодѣтельствовать.

— Оно, конечно, благодаримъ покорно, барыня,—сказалъ тотъ же загнавшій барскую скотину Лычковъ-отецъ, — вамъ лучше знать. А только вотъ въ Ересневѣ богатый мужикъ Вороновъ обѣщаль школу выстроить, тоже говорилъ: я вамъ, да я вамъ, а поставилъ только срубъ да отказался, а мужиковъ потомъ заставили крышу класть и кончить, тысяча рублей пошла! Воронову-то ничего, онъ только бороду гладить, а мужикамъ какъ-будто обидно...

— То былъ воронъ, а теперь грачъ налетѣлъ, — сказалъ другой мужикъ, Козовъ, и подмигнулъ.

Барыня поблѣднѣла, осунулась вся, сжалась и пошла, не

сказавъ больше ни слова, а мужикъ Родіонъ побѣжалъ, догналъ ее, пошелъ рядомъ и говорить:

— Ты ничего, потерпи годика два... И школу можно выстроить, а только не сразу. Хочешь, скажемъ, къ примѣру, на этомъ бугрѣ хлѣбъ посѣять, такъ сначала выкорчуй, выбери камни всѣ, да потомъ вспаши, ходи да ходи... И съ народомъ, значить, такъ. Ходи да ходи, пока не осилишь...

Не повѣрили барынѣ мужики и стали всячески донимать дачниковъ, и тѣ уѣхали въ Москву, а дача перешла къ чиновнику съ кокардой, и мужики перестали хулиганить, и думали потомъ о выкуренныхъ ими помѣщикахъ-дачникахъ: «Что это за туманъ былъ, который застилалъ отъ глазъ самое важное, и видны были только травы, уздечки, клещи и всѣ эти мелочи, которыя теперь казались такимъ вздоромъ?»...

Вотъ вся сущность разсказа. Вотъ и всѣ «ужасы» деревни, мѣшающіе людямъ, «которые мечтаютъ быть полезными деревнѣ!» Вотъ эти «безотрадныя отношенія», которыя заочно пристегиваетъ г. Тальниковъ, сгущая недобросовѣстно своимъ резюме, своей «отсебятиной», деготь, которымъ онъ мажетъ русскаго мужика, сдѣлавъ изъ русскаго писателя лоханку для дегтя...

Развѣ не потускнѣли бы всѣ Машины обличенія мужиковъ, если бы г. Тальниковъ принялъ во вниманіе и привелъ намъ хотя вотъ это замѣчаніе любящаго ее человѣка:

— Наша встрѣча, наше супружество были лишь эпизодомъ, какихъ будетъ еще немало въ жизни этой живой, богато-одаренной женщины. Все лучшее въ мірѣ было къ ея услугамъ и получалось ею совершенно даромъ, и даже идеи и модное умственное движеніе служили ей для наслажденія, разнообразя ей жизнь...

И еще многое пропустилъ критикъ, пропустилъ все, что мѣшало ему утвердить свой выводъ, что мужики—животныя и что жить съ ними невозможно. Маня построила школу, но никакого удовлетворенія не получила: «Кому надоѣла грязь,—говорила она, — мелкіе грошевыя интересы, кто возмущенъ, оскорбленъ и негодуетъ, тотъ можетъ найти покой и удовлетво-

решіе только въ прекрасномъ!» Когда школа была окончена и праздновалось ея открытіе — на колокольнѣ звонили, несли къ школѣ образа, и было слышно, какъ пѣли «Заступница усердная». Служили въ классной молебень. Потомъ курдюковскіе крестьяне поднесли Машѣ икону, а дубеченскіе—большой крендель и позолоченную солонку. И Маша разрыдалась! А затѣмъ вышелъ мужикъ-старикъ, поклонился Машѣ и Мисаилу и сказалъ:

— А ежели что было сказано лишнее или какія неудовольствія, то простите!

Маша вотъ разрыдалась, поняла, видимо, что напрасно считала этихъ людей «животными», и поняла, что теперь ей уже открыта дорога для постройки школъ мужикамъ, а вотъ г. Тальниковъ, какъ прокуроръ на судѣ, по долгу службы отбрасываетъ всѣ эти «сомнительныя свидѣтельскія показанія» и продолжаетъ настаивать на высшей мѣрѣ наказанія.

Такъ же по-прокурорски критикъ пользуется и остальными рассказами Чехова: «Мужики» и «Въ оврагѣ». Все, что смягчаетъ, объясняетъ и оправдываетъ мужиковъ,—все это выкидывается за бортъ или подвергается сомнѣнію, а все, что можетъ служить къ тягчайшей мѣрѣ наказанія, подчеркивается красными чернилами и снабжается еще обобщающей «отсебятиной». Что наша деревня и мужики остались за штатомъ культурнаго преуспѣянія,—доказывать не нужно, но что есть тому специфическія причины въ нашей внутренней политической и экономической политикѣ на протяжении полстолѣтія послѣ паденія мужицкаго рабства,—забывать объ этомъ, особенно имѣя девизомъ марксистское «сознаніе опредѣляется бытіемъ»—прямо нечестно, ибо это даже не промахъ, а преднамѣренность, нужная для какихъ-то заранѣе поставленныхъ цѣлей. Г-нъ Тальниковъ указываетъ только на одну причину некультурности—«присущая деревнѣ, всякой деревнѣ, косность». Не значить ли это побывать въ кунсткамерѣ, видѣть крохотную букашку, но не замѣтить «слона»? Почему, если г. Тальниковъ проглядѣлъ «слона», редакція журнала «Лѣтопись» не напомнила ему и не спросила:

— А гдѣ же слонъ?

Вотъ Чеховъ, какъ правдивый и честный созерцатель и любящій свою родину художникъ, именно этого «слона» и показалъ намъ въ своемъ разсказѣ «Мужики». И опять онъ употребилъ для этого свой излюбленный методъ: на маленькомъ кусочкѣ полотна онъ сконцентрировалъ, сгустилъ до экстракта, всѣ послѣдствія государственнаго историческаго грѣха. Не сфотографировалъ Чеховъ мужицкую семью, а сотворилъ ее, чтобы показать результаты нашей исторической несправедливости. Чеховъ былъ человекъ просвѣщенный и не могъ не знать, что Россія—огромна, что, напримѣръ, на сѣверѣ, въ Ярославской, Вологодской и Архангельской губерніяхъ дома у мужиковъ двухъэтажные, что живутъ тамъ мужики довольно зажиточно, что и сами они—здоровые, крѣпкіе, рослые и красивые; не могъ не знать, что у насъ имѣются тысячи богатыхъ селъ съ каменными домами, съ желѣзными крышами, что въ Малороссіи, напримѣръ, избы содержатся въ образцовой чистотѣ, и т. д. Однако, въ своихъ «Мужикахъ» онъ беретъ самую бѣдную развалившуюся избенку, густо набитую людьми всѣхъ возрастовъ, гдѣ по случаю праздника варятъ похлебку изъ селедочной головки, гдѣ всѣ неграмотны, гдѣ есть мужикъ-алкоголикъ и гдѣ сугубая грязь, невѣжество и ужасы темноты и бѣдности, заставляющей смотрѣть въ ротъ, чтобы туда не попалъ лишній кусокъ хлѣба, гдѣ каждый лишній ротъ—новое бремя и гдѣ потому вынуждены радоваться, когда бесполезный приговоренный на бездѣйствіе человекъ умираетъ. Что же тутъ—только «косность» деревни? Повторяю, здѣсь опять есть правда художественная, условная, преднамѣренная, и ея надо честно пользоваться. Покойный Михайловскій говорилъ про «Мужиковъ», что тутъ правда лишь въ фонѣ, а въ общемъ есть «какая-то большая неправда». Совершенно правильно, потому что Чеховъ не сфотографировалъ, а сотворилъ деревню и мужика. Чтобы еще разъ показать вамъ, какъ критикъ дѣлаетъ лоханку для дегтя изъ прекраснаго художника и человека Чехова, довольно будетъ отмѣтить хотя бы такой критическій фокъусъ г. Тальникова. Чеховъ описываетъ душевное настроеніе

своей героини, овдовѣвшей жены повара изъ «Славянскаго базара», и думы, которыя и н о г д а посѣщали бѣдную женщину: «Бывали такіе часы и дни, когда казалось, что эти люди живутъ хуже скотовъ, жить съ ними было страшно, они грубы, не трезвы, живутъ несогласно... Кто держитъ кабакъ и спаиваетъ народъ?—Мужикъ. Кто растрчиваетъ и пропиваетъ мірскія, школьныя, церковныя деньги?—Мужикъ. Кто укралъ у сосѣда, поджегъ, ложно показалъ на судѣ за бутылку водки? Кто въ земскихъ и другихъ собраніяхъ первый ратуетъ противъ мужиковъ? Мужикъ!»

Вотъ всѣ эти думы жены повара изъ «Славянскаго базара» критикъ считаетъ за резюме самаго Чехова, цѣликомъ вносить въ обвинительный актъ противъ деревни и мужиковъ и не только не приводитъ сейчасъ же слѣдующихъ за этимъ думъ жены повара изъ «Славянскаго базара», изъ которыхъ видно, что даже эта непросвѣщенная женщина изъ «Славянскаго базара» находитъ и объясненія и оправданія для несчастной убогой мужицкой семьи, но еще сопровождаетъ эту выдержку такою «отсебятиной»: «это цѣлая программа ряда будущихъ и с н а в и с т н ы хъ Чеховымъ деревенскихъ рассказовъ,—схема, которая ясно опредѣляетъ взгляды Чехова на деревню».

А думаетъ жена повара тутъ же еще вотъ о чемъ:

— Да, жить съ ними страшно, но все же это люди, они страдаютъ и плачутъ, какъ люди, и въ жизни ихъ нѣтъ ничего такого, чему нельзя было бы найти оправданія. Тяжкій трудъ, отъ котораго по ночамъ болить все тѣло, жестокія зимы, скудные урожаи, тѣснота, а помощи нѣтъ и неоткуда ждать ея... Тѣ, которые богаче и сильнѣе ихъ, помочь не могутъ, такъ какъ сами грубы, не честны, не трезвы и сами бранятся такъ же отвратительно: самый мелкій чиновникъ или приказчикъ обходится съ мужиками, какъ съ бродягами, и даже старшинамъ и церковнымъ старостамъ говорить «ты» и думаетъ, что онъ имѣетъ на это право. Да и можетъ ли быть какая-нибудь помощь или добрый примѣръ отъ людей корыстолюбивыхъ, жадныхъ, развратныхъ, лѣнивыхъ, которые наѣзжаютъ въ деревню только затѣмъ, чтобы оскорбить, обобрать, напугать?

Всю эту тираду критикъ намѣренно сокращаетъ до четырехъ строчекъ, ставитъ впереди и предупредительно замѣчаетъ, что эти четыре строки связаны Чеховымъ изъ простой человеческой жалости, а что въ сущности совершенно права жена повара, утверждающая, что народъ спаивается мужикомъ, что всѣ бѣды мужицкія отъ самихъ мужиковъ: «кто спаиваетъ народъ? Мужикъ. Кто крадетъ и обворовываетъ народъ? Мужикъ. Кто въ земствѣ портитъ народъ? Мужикъ!» и т. д.

Не Чеховъ дѣлаетъ такія утвержденія, а жена повара изъ «Славянскаго базара», а г. Тальниковъ, какъ попугай, повторяетъ это заблужденіе необразованной жены повара. Ибо кто же кромѣ жены повара изъ «Славянскаго базара» можетъ говорить съ серьезнымъ лицомъ и спокойной совѣстью, что народъ споснъ мужикомъ, что народъ обворовывается мужикомъ, что въ нашемъ земствѣ главнымъ тормозомъ для процвѣтанія деревни и народа является мужикъ?.. Что это: невѣжество или умысленная клевета? Не завѣдуетъ ли въ «Лѣтописи» критическимъ отдѣломъ жена повара изъ «Славянскаго базара»?

Стушивъ всѣ краски для удара въ одну опредѣленную сторону, Чеховъ далъ намъ и сгущенное религіозное затменіе. Но все же и тутъ есть проблескъ къ свѣту, котораго не желаетъ показывать г. Тальниковъ: по деревнѣ, носятъ икону, «громкая толпа запрудила улицу. Всѣ протягивали руки къ иконѣ, жадно глядѣли на нее и говорили, плача: «Заступница усердная! Магушка!» Всѣ какъ-будто вдругъ поняли, что между землей и небомъ не пусто, что не все еще захватили богатые и сильные, что есть еще защита отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяжкой, невыносимой нужды, отъ страшной воды!»

Г-ну Тальникову это неужно, и онъ спускаетъ эту существенную авторскую оговорку. А вѣдь тутъ какъ разъ видны взгляды Чехова на деревню, какъ разъ видно, что правдивый, честный и искренній писатель говоритъ совсѣмъ не о косности, присущей деревнѣ и мешающей ей преуспѣванію культурному, а кое о чемъ другомъ. Тутъ довольно опредѣленно указаны причины этой косности: слишкомъ много захватили богатые и сильные, нѣтъ защиты отъ обидъ, отъ рабской неволи, отъ тяж-

кой невыносимой нужды, отъ страшной водки. Зачѣмъ же г. Тальниковъ предпочелъ Чехову жену повара изъ «Славянскаго базара»?..

Теперь г. Тальникову и «Лѣтописи» остается перескочить еще Чеховскій «Оврагъ», и дѣло, какъ говорится, будетъ въ шляпѣ. Тогда можно будетъ сказать: «Что и требовалось доказать» и приняться за постройку дохани для дегтя изъ почетнаго академика Бунина. Въ повѣсти «Въ оврагѣ» Чеховъ рисуетъ намъ вторгнувшійся въ деревню «купонъ», рисуетъ именно то, что озаглавилъ Глѣбъ Успенскій фразою «Хамъ идетъ!» Вотъ, казалось бы, удобный случай поговорить «марксисту» о разслоеніи деревни, о разрушеніи ея бытовыхъ условій подъ натискомъ города и капитализма, о томъ, что давно уже нельзя говорить о народѣ и «мужикѣ», какъ о единомъ цѣломъ, какъ дѣлали это народники стараго типа, и т. д.

Не тутъ-то было, жена повара изъ «Славянскаго базара» объ этомъ ничего не говорила! И г. Тальниковъ умалчиваетъ. Почтенное семейство деревенскаго буржуа, у котораго одинъ сынъ служитъ въ городѣ по «охранному отдѣленію» и занимается выдѣлкою фальшивой монеты, а глава семейства преумножаетъ свои доходы и мытьемъ и катаньемъ, проявляя всѣ признаки мѣщанско-буржуазной щуки, готовой пролѣзть въ гильдію, это семейство и всю мѣщанскую пакость его авторъ беретъ такъ же матеріаломъ для обвинительнаго акта противъ деревни и несчастнаго мужика! Вотъ, молъ, смотрите, каковъ онъ, милый мужичокъ изъ деревни! А этотъ псевдо-мужичокъ живетъ въ отличныхъ хоромѣхъ, склеенныхъ обоями, увѣшанныхъ дорогими образами, развѣзжаетъ на прекрасномъ жеребцѣ, кушаетъ, сколько хочетъ, беретъ сыну невесту изъ порядочнаго семейства, и т. д. Какъ сытно, какъ богато! Совсѣмъ иной мужичокъ, чѣмъ въ разсказѣ «Мужики». Однако, взявъ у этого псевдо-мужика лишь внутреннюю грязь мѣщанства и наносный фабрикою и городомъ отрицательной культуры, г. Тальниковъ валить все съ больной головы на здоровую и вносить въ обвинительный актъ противъ той же деревни и мужика. Это выходитъ ужѣ до-волчьи! «Ужъ тѣмъ ты виноватъ, что хочется мѣ

кушать!» А г. Тальникову, во что бы то ни стало, хочется доказать, что «дережня, руссь—это вѣдь вся Русь!»—это почвенная Азія; что Русь на двѣ трети съ лишкомъ населена «животными», съ которыми страшно и невозможно жить культурнымъ европейскимъ народамъ!.. Отъ всѣхъ этихъ «фокусовъ» самобытныхъ социаль-демократовъ изъ «Лѣтописи» отдаетъ нѣмецкой милитаристской, «соціальной антропологіей», которая доказываетъ, что мы—низшая раса и потому должны смириться предъ торжественнымъ шествіемъ «единой нѣмецкой культуры», спасительницы Европы отъ дикаго варварства...

Совершенно излишнимъ будетъ подробно останавливаться на другихъ русскихъ писателяхъ, изъ которыхъ «Лѣтопись» руками г. Тальникова дѣлаетъ такое неблагоприятное употребленіе. Всѣ они, благодаря Бога, живы и сами должны подать голось. Я сдѣлаю лишь небольшую остановку на г. Бунинѣ, который вмѣстѣ съ Чеховымъ послужилъ главнымъ матеріаломъ для лоханки.

«Бунина часто обвиняють въ барскомъ пессимизмѣ» — осторожноенько бросаетъ г. Тальниковъ, послѣ того, какъ выскоблилъ все изъ произведеній этого писателя для своихъ цѣлей. Однако, на этомъ дѣло и кончается. Критику невыгодно разсматривать этотъ вопросъ, и онъ оставляетъ его безъ разсмотрѣнія. Защитникъ формулы «Сознаніе опредѣляется бытіемъ», поборникъ разсмотрѣнія сознанія съ точки зрѣнія классовой борьбы, не только не считаетъ нужнымъ принять во вниманіе свою исходную точку, но самъ же опровергаетъ ее. Дѣлаетъ это онъ тоже осторожноенько, чтобы не бросалось въ глаза проникающему читателю. «Бунина часто упрекають въ барскомъ пессимизмѣ. Но вотъ что пишутъ другіе молодые писатели крестьяне», — говоритъ г. Тальниковъ. Развѣ это не осторожное ниспроверженіе своего собственнаго метода? Если маэстро, г. Тальниковъ, подвергнувъ разсмотрѣнію по сему методу нашу классическую литературу, открылъ тамъ мѣщанство и барство, то почему тотъ же методъ опровергаетъ теперь зависимость Бунинскаго сознанія отъ бытія? Я не поклонникъ этого метода въ художественной литературѣ и критикѣ, но

г. Тальникову слѣдовало бы принять во вниманіе, что г. Бунинъ—потомокъ дворянства, занимавшаго опредѣленную позицію въ рабовладѣльческой Россіи, имѣвшаго отличное отъ рабовъ сознаніе, опредѣлявшее бытіе обѣихъ сторонъ. Г-ну Тальникову слѣдовало бы сказать, что въ этомъ бытіи было слишкомъ много данныхъ, чтобы сдѣлаться по отношенію другъ друга пессимистами; слѣдовало бы вспомнить, что и нынѣ г. Бунинъ живетъ въ своей родовой усадьбѣ на положеніи помѣщика-барина и здѣсь онъ дѣлаетъ свои наблюденія надъ деревней и мужиками. Вѣдь и вся дальнѣйшая исторія взаимоотношеній въ деревнѣ барина и мужика не давала никакихъ основаній къ оптимизму по отношенію другъ друга, а, напротивъ, въ эту исторію вдвинулись новыя событія, отъ которыхъ стало, дѣйствительно, страшно жить культурному европейцу среди потомковъ пробуждающихся и страшныхъ вѣковой обостренностью отношеній и своей малокультурностью рабовъ.

Мы не хотимъ становиться на эту точку зрѣнія. Мы допускаемъ, что большой художникъ, какимъ несомнѣнно нужно признать г. Бунина, способенъ встать выше классовой точки зрѣнія. Бунинъ художникъ яркихъ красочныхъ пятенъ жизни. Всякому «русскому-европейцу», проводящему полъ-жизни въ Западной Европѣ, и попадающему затѣмъ въ свою родовую усадьбу, въ нашу убогую, забытую всѣми деревню, конечно, прежде всего бросятся въ глаза контрасты, дурные и хорошіе. Какъ впечатлительному и наблюдательному художнику, Бунину лѣзутъ въ глаза именно эти красочныя пятна-контрасты, и на нихъ онъ останавливается. Пятна отрицательнаго характера, конечно, сильнѣе рѣжутъ глаза, поэтому и на полотнѣ художника ихъ больше. Отсюда всѣ эти Иоанны Рыдальці, бессмысленные убійцы, Шаши, Ермилы, всѣ эти монстры деревни. Но немало у Бунина и положительныхъ яркихъ пятенъ. Но зачѣмъ г. Тальникову что-нибудь положительное! Г-нъ Тальниковъ не придаетъ имъ никакого значенія, упоминаетъ мимоходомъ и не приводитъ никакихъ выдержекъ. Суть, по его словамъ, не въ этихъ отдѣльныхъ хорошихъ мужикахъ и бабахъ; а въ иномъ. Все, что положительно—случайно, это отдѣльные

экземпляры, единичныя явленія, а суть именно въ тѣхъ экземплярахъ, въ Рыдалицахъ, Шашахъ, убійцахъ, идолопоклонникахъ, вырожденцахъ и пьяницахъ, хотя вѣдь и они тоже на полотнѣ Бунина—отдѣльные экземпляры, красочныя пятна. А «суть», которую отыскалъ у Бунина г. Тальниковъ, та самая, которая требуется ему для оплеванія не только деревни, а всей Руси... Что какъ не оплеваніе всей Руси можно усмотрѣть въ такомъ «фокусѣ» критика.

— Смѣлой кистью,—говорить г. Тальниковъ, — набрасываетъ Бунинъ широкую картину Руси.

И, взявъ изъ разсказа Бунина описаніе скопившихся деревенскихъ нищихъ около церковной ограды, превращаетъ ихъ именно въ ту «широкую картину Руси», какую ему хочется самому видѣть и изобразить. Вотъ она, наша великая матушка-Русь: «здѣсь старцы съ изсохшими головами... Есть слѣпцы, мордастые мужики, крѣпкіе и приземистые, холодно загубившіе десятки душъ: у этихъ головы твердыя, квадратныя лица, какъ-будто топоромъ вырублены... Есть просто идіоты, толсто-плечіе и толстоногіе. Есть злые карлы съ птичьими лицами. Есть горбуны клиноголовые... Есть карандаши, осѣвшіе на кривыя ноги, какъ таксы. Есть лбы, сдавленные съ боковъ... Есть безносыя старухи»... Перечень длинный. Не опущены даже «ползающіе на задахъ»... Вотъ наша Русь съ ея странниками, богоискателями!

Почему это—широкая картина Руси? Почему это не отдѣльные экземпляры, рожденные именно тѣмъ, о чемъ кричитъ Чеховъ, г. е. тяжелой невыносимой нуждой, бѣдностью, темнотою, обидой, рабскою неволею, страшною водкой, беззащитностью и т. п.

Такъ хочется г. Тальникову. Это прибавляетъ ему дегтя и даетъ болѣе правъ притти къ одному нужному выводу:

Деревня—вся Русь, а между тѣмъ мужикъ—животное, лѣнивое, пьяное, воровское, пещерное, идіотское, страшное для европейской культуры, а слѣдовательно, такова и вся Русь. Азія и больше ничего. Какъ было при Рюрикѣ, такъ и осталось до настоящаго времени. Очевидно, что никакихъ надеждъ не пред-

видится, и можно со спокойной совѣстью запѣть «Со святыми упокой», что и поется теперь хоромъ въ «восточно-космополитической» «Лѣтописи»...

Господа! Ну, а какъ же К. Марксъ? Какъ же Русь и деревня могли остаться такими же, какъ были при Рюрикѣ? Развѣ съ той поры ничто не измѣнилось въ политическомъ и экономическомъ положеніи борющихся въ ней сословіи и классовъ?

Наплевали и на Маркса!..

Повторяемъ, что съ г. Тальникова трудно требовать знанія русской души, русской деревни и русскаго народа. Пессимистъ, видимо, по этому вопросу онъ большой, и—кто знаетъ?—можетъ быть, имѣть свои основанія быть пессимистомъ. А тутъ пришлось «къ случаю» и перестарался, желая угодить «Двумъ душамъ» М. Горькаго. Но вотъ съ г. М. Горькаго, руководителя журнала, спросится, ибо кому много дано, съ того много и спросится. Какъ же теперь понимать, писатель, ваше поздравленіе:

— Съ праздникомъ, великій, русскій народъ!
Съ воскресеніемъ близкимъ, милый!

Почему М. Горькій поздравлялъ съ праздникомъ вскорѣ послѣ неудачной революціи, когда вмѣсто праздника наступили тяжелыя и долгія будни, а теперь, когда воскресеніе «великаго и милаго народа» чается съ великимъ и всеобщимъ ожиданіемъ, М. Горькій читаетъ «отходную»? Когда же М. Горькій былъ правдивѣе и ученѣе? Раньше или теперь?

Вѣдь изъ всей этой «ученой комедіи», разыгрываемой «Лѣтописью», смотритъ самая самобытная русская сказочка объ «Иванушкѣ», который на похоронахъ поетъ «Исаія, ликуй!», а на свадьбѣ—«Со святыми упокой!».

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Неразбериха	3
При свѣтъ здраваго смысла	29
